

Первый, случайный, единственный

Автор:

[Анна Берсенева](#)

Первый, случайный, единственный

Анна Берсенева

Гринева. Капитанские дети #5

К двадцати годам художница Полина Гринева окончательно убеждается в том, что в жизни нет ничего скучнее отношений с мужчинами – однообразными, слабыми и самовлюбленными существами. Полину не интересуют ни «концептуальная», ни «красивая» жизнь окружающих ее мужчин: их увлечение буддизмом, или бриллиантами, или закрытыми клубами для элиты... Ее притягивает совсем другое: Полина занимается мозаикой, у нее появляется возможность реализовать свои планы, да еще в очень необычных условиях. Поэтому она не обращает особенного внимания на знакомство с кинооператором Георгием Турчиным. Полина еще не знает, как заметно он отличается от ее знакомых и какой «сильный магнит» появился теперь в ее жизни...

Анна Берсенева

Первый, случайный, единственный

Часть I

Глава 1

Что такое прямые чувства, Полина не знала.

Вообще-то она и задумываться не стала бы о таких невнятных вещах, если бы не попался на глаза брелок в виде гранатового сердца, пронзенного серебряной стрелой. Брелок лежал в одной из бесчисленных бабушкиных пепельниц. Раньше он был прицеплен к ключам от бабушкиной квартиры, а полгода назад Полина самолично его отцепила. Потому что и квартиру-то продавать было... неприятно, а отдавать еще и это родное сердечко в чужие руки – это и вовсе было гадостно.

И вот он попадает на глаза почему зря, напоминая о всяких смутных и ненужных словах, вроде этих, про прямые чувства.

Брелок в виде пронзенного сердца подарил бабушке Эмилии какой-то безутешный поклонник, и она потом говорила Юре, любимому внуку:

– Прямые чувства, Юрочка, никогда ведь не бывают пошлыми, даже если выглядят таковыми.

А Юрка пересказал эти ее слова Полине. То есть не пересказал, а просто вспомнил о них мимолетно, как всегда. Меньшего любителя возвышенных сентенций, чем старший брат, Полина в жизни не встречала.

Бабушка Миля умерла, когда ее младшей внучке было девять, квартиру продали через десять лет, потому что... Потому что Юра так решил. Но вот и спустя полгода после этого Полина все еще сидит здесь на широком подоконнике, поджав ноги в пестрых гетрах, и смотрит вниз, на полукруг тихого, с цветочными клумбами, ровно двадцать лет знакомого двора.

Двор, впрочем, приобрел такой элегически-патриархальный вид – бордюрики, цветочки – совсем недавно и после долгого перерыва. Просто обитателям писательского дома у метро «Аэропорт» наконец надоело, что их жилище прочно превратилось в ночлежку для бомжей и туалет для уличных торговцев, и, проявив невиданную в творческой среде солидарность, они поставили на

арки, ведущие во двор, решетки такой прочности, словно за ними, во внешнем мире, жили тигры.

– Ну и правильно, – сказала мама в ответ на это Полинкино ехидное наблюдение. – Я вот в книжке читала, только не помню, в какой, что вся эта мерзость началась, когда интеллигент стал объясняться в дверях с хамом, вместо того чтобы дать ему ногой под зад.

– Это Битов написал, – улыбнулась Ева. – Роман «Пушкинский Дом». А я и не думала, ма, что ты его читала.

Ева – та читала абсолютно все. Полинка не знала такой книжки, которую не прочла бы ее старшая сестра – неважно, была эта книжка в программе гимназии, где Ева преподавала русскую литературу, или ни в какой программе ее не было.

Полинка к книжкам относилась с некоторой настороженностью: читала-то много, но при этом не верила, что слова могут сказать больше, чем говорят линии и краски.

Задумавшись обо всем этом, она не заметила, как открылись железные ворота, ведущие во двор, и у соседнего подъезда остановилась Женина машина – ярко-красный, похожий на блестящий стручок перца «Фольксваген». Женя вышла из машины, открыла заднюю дверцу, один за другим вытащила три битком набитых супермаркетовских пакета. Вслед за пакетами из машины показался Ванечка, и Полина улыбнулась, как всегда она улыбалась и как все улыбались, видя его. Племянник был такой маленький, что не улыбнуться было невозможно. Просто не верилось, что не грудной, а двухлетний, на своих ножках стоящий ребенок может быть таким крошечным.

Женя дождалась, пока Ванечка выберется наружу, закрыла машину и пропустила его перед собою на дорожку, ведущую к подъезду. Ванечка, впрочем, по дорожке не пошел, а, стоя на месте, протянул руку и подергал за один из пакетов. Женя засмеялась – даже сверху было видно, как сразу переменялось ее красивое холодноватое лицо, – отдала пакет, и довольный ребенок потащил его к подъезду, волоча прямо по асфальту.

Полина тоже засмеялась и даже прижалась носом к стеклу, чтобы получше все это разглядеть. Ванечка был совсем не похож на Юру, но, видно, гены

проявлялись у них в чем-то большем, чем внешнее сходство.

Правда, этот мальчик-с-пальчик неожиданно оказался очень похож на своего прадеда, то есть на Полинкиного деда. Профессор Юрий Илларионович Гринев умер, когда на свете не было не только Вани, но даже его папы. Может быть, гриневские гены пронзили время каким-то загадочным образом, и то, что так ясно читалось в прадедовой улыбке и во взгляде его чуть раскосых близоруких глаз за стеклами очков, вся эта непонятная, какая-то извиняющаяся и немного смущенная внутренняя сила, – вдруг проявилось в том, как его крошечный правнук забрал у Жени тяжелый пакет. А может, просто Ванечка удался характером непосредственно в своего папу, а что уж там теряется во мраке лет – это дело десятое.

Фотография деда висела на стене в единственной комнате бабушкиной гарсоньерки. Полина вообще-то и пришла сюда для того, чтобы наконец снять и уложить в ящик и эту фотографию, и все другие, когда-то подаренные бабушке теми, кто был на них изображен, – Высоцким, Тарковским, Феллини, Окуджавой... Эта часть жизни кончилась, огромная часть, и нечего теперь было разводить сантименты.

Полина вообще терпеть не могла сантиментов. Это Ева у них вечно прислушивалась к своим и чужим чувствам так, словно это и было самое главное в жизни.

И потому сейчас, когда отчего-то рука не поднималась внести во все это неизбежный разор, Полина просто сказала себе: «Фотографии со стенки снять всегда успею, делов-то! Или Женю попрошу, еще лучше», – и принялась собирать свои рисунки, разбросанные по всей комнате, кухне и даже по коридору гарсоньерки.

Делать это ей тоже почему-то было неприятно. Как будто и в рисунках этих кончилась какая-то давняя жизнь, ее жизнь, и они лежали теперь мертвым, хотя и почти невесомым грузом.

Ну, и к тому же было неприятно сознавать, что по меньшей мере половину из своих работ она бросила неоконченными. Даже те, которые делала на заказ, как, например, иллюстрации к книжке про Мэри Поппинс, и делала с удовольствием. И ведь, главное, черт его знает, почему бросила! Захотелось вдруг чего-то

другого, вот и все, хотя, по-хорошему, сначала надо было бы сообразить, чего же такого другого хочется, а потом уж прежнее бросать.

Конечно, права мама, когда говорит:

– Полинке если все разрешать делать, что она хочет, она на Луну разве что захочет полететь, да и то ей надоеет через неделю.

Собственная безалаберность Полину не то чтобы угнетала, но как-то... смущала. Хотя и не слишком.

Она складывала рисунки в папки, папки в картонные коробки из-под бананов, а коробки перетаскивала в прихожую и составляла друг на друга у стенки. Все-таки довольно много их получилось, несмотря на ее безалаберность.

Через полчаса она почему-то устала. То есть не «почему-то», а всегда она уставала от бессмысленной механической работы и всегда сразу начинала выдумывать какое-нибудь занятие, которое можно было бы считать полезным и на которое поэтому вполне можно было бы отвлечься.

Сейчас такое занятие отыскалось в ее рыжей голове мгновенно. Да и не занятие даже, а так... Надо поехать к Игорю и забрать свои вещи. Лучше бы, конечно, подождать, когда его не будет дома, чтобы лишний раз не объясняться. Но Игорь сейчас пребывает в очередном приступе медитации, а значит, большую часть дня и ночи проводит на диване, глядя то в стенку, то в потолок, и поэтому разминуться с ним затруднительно.

«И правда, чего ждать? Прямо сейчас и поеду», – решила Полина, и ей тут же стало весело оттого, что можно бросить эти дурацкие рисунки, и коробки, и мысли о том, что вот ей уже двадцать лет, а она так и не знает, чем же хочет заниматься, то есть вроде бы знает, но вроде бы получается, что толком и не знает, потому что... Надоели эти «потому что», век бы их в голове не крутить!

Гарсоньерка полгода стояла пустая – Юра жил теперь у Жени, – поэтому на всем здесь лежал слой пыли. Полина чихнула, стряхнула серый пыльный комок с волос, прицепила к ключам бабушкин брелок и, наспех умывшись, вышла из квартиры.

Игорь жил на Соколе, в том самом «деревенском» районе, о котором знали даже не все москвичи, не говоря о приезжих. Но художники знали об этом районе все поголовно, потому что это был как раз поселок художников. Он был построен еще до войны, но тогда, наверное, Сокол все же считался окраиной и маленькие деревянные домики смотрелись органично. А потом, уже после войны, они стали смотреться необычно, а теперь смотрятся просто роскошно, потому что иметь собственный особняк не в деревне Пупкино и даже не на Рублевке, а в двух шагах от метро – это, конечно, очень круто. Не зря же многие «новые русские» спали и видели, как бы прикупить здесь домишко, а художники изо всех сил этому сопротивлялись, и понятно, почему. Кому охота, чтобы под окнами тихого родного дома стреляли, взрывали друг друга или даже просто гуляли со своим идиотским размахом скороспелые хозяева жизни?

Дом скульптора Латынина стоял в самом конце улицы Васнецова. Он был по старинке обнесен обычным деревянным забором. Игоревы родители уже три года жили в Америке, поэтому у них руки не доходили до того, чтобы возвести вокруг дома ограду, соответствующую духу времени и места. А деньги, которые они несколько раз присылали для этого сыну, как-то незаметно уходили на что-нибудь, что тот считал более насущным, чем какой-то забор.

Дом был старый, и сад был старый, и трава пробивалась между камнями дорожки, ведущей к старому дому через старый сад. Полина потому и оттягивала момент, когда надо будет прийти сюда, что знала: стоит ей открыть калитку, пройти по этой травяной дорожке, подняться по скрипучей лестнице на высокое, как в «Сказке о семи богатырях», крыльцо – и так грустно, так странно станет на сердце... И подумает она: «И зачем отсюда уходить, и куда?»

Именно так она и подумала, вставляя в замочную скважину большой, как у Буратино, только не золотой, а зелено-медный ключ, который извлекла из неглубокой дырки под ставнями.

Полина не была здесь три месяца, но точно знала, где искать Игоря. Да его и искать не надо было – просто подняться в мансарду.

На веранде стояли безглазые головы и обнаженные торсы.

«А в сортире Ленин сидит», – вспомнила Полина и улыбнулась.

Сидящий Ленин был одним из сюрпризов этого дома, вообще полного всяких необычностей. Когда кто-нибудь из гостей, впервые попавших сюда, удалялся в туалет, все замирали в предвкушении удовольствия.

– Ой, извините, здесь было не заперто!.. – раздавался смущенный возглас.

А уж за ним следовала индивидуальная реакция: хохот, мат или обращенные к вождю дружеские приветствия.

Выполненный в человеческий рост гипсовый Ленин сидел на гипсовой же скамеечке рядом с унитазом. Для пущего эффекта Игорева приятели раскрасили его в натуральные цвета и вместо кепки вложили в руку туалетную бумагу.

Полина поднялась по скрипучей деревянной лестнице наверх и толкнула дверь комнатки под крышей. Ее ничуть не удивило то, что Игорь никак не отреагировал на появление в доме постороннего человека – на скрип входной двери, скрип половиц, скрип деревянной лестницы... Сейчас все это было ему безразлично.

«Медитация – не хрен собачий», – усмехнулась Полина.

Правда, войдя в комнату, она обнаружила, что недавний спутник ее жизни не медитирует, а просто спит. Размышляя, будить его или не стоит, она остановилась в дверях.

Из-за включенного обогревателя – старого, с открытой раскаленной спиралью – в мансарде было невыносимо душно. К тому же и свет почти не проникал в затененное березовыми ветками окно. Свет исходил только от багровой спирали обогревателя, и от этого в комнате стоял тяжелый полумрак, в котором видны были крупные капли пота на бритой Игорева голове и на его голых плечах и пушинки, прилипшие к его мятым ворсистым брюкам.

Очки лежали на полу у кровати; было что-то беспомощное в их широко расставленных тонких дужках. Полина отвела глаза от этих модных, дорогих, но таких беспомощных очков. Ей всегда почему-то становилось не по себе, когда она их видела.

Помедлив, она все-таки распахнула жалобно скрипнувшее окно. Сырой осенний воздух хлынул в комнату вместе с винным запахом прелой листвы и каплями только что начавшегося дождя. Капли упали Игорю на лицо, он фыркнул, заерзал на сбившейся постели, наконец проснулся и сел, удивленно вертя головой и часто моргая затуманенными сном и близорукостью глазами.

- Кто там? - пробормотал он, вглядываясь в Полинин силуэт у окна. - Ты что?

- Я там. Угоришь, вот что, - ответила она. - Давно почиваешь?

- А-а, это ты... - пробормотал Игорь и провел рукой по полу, отыскивая очки. - Нет, недавно, кажется. А который час?

Он не удивился ее появлению и спросил о времени так, как будто она вышла из этого дома не три месяца, а минут пятнадцать назад.

- Час - четвертый, а число - двадцатое сентября, - сообщила Полина.

Число она назвала не зря: знала, что Игорь вполне может проспять сутки, особенно при этом допотопном обогревателе, от которого и вправду немудрено угореть.

- Да? - вяло удивился он. - Тогда, значит, давно. Подожди, сейчас встану.

- Чего мне ждать? - пожала плечами Полина. - Хочешь - вставай, хочешь - лежи. Мое какое дело?

Когда Игорь спустился вниз, она пила кофе в маленькой кухоньке, примыкающей к веранде. Дорогой, головокружительно пахнущий бразильский кофе так и остался нетронутым с тех пор, как три месяца назад она купила его в магазине на Мясницкой и там же смолочила. Игорь пил только тибетский травяной чай, от которого Полину мутило, и на ее запасы кофе не претендовал. Да он и вообще ни на что не претендовал. Почему она от него ушла, было загадкой для всех и даже для нее самой немножко.

Он надел пуловер, связанный из серых грубых ниток. Пуловер напоминал кольчугу, он сползал то с правого, то с левого плеча, и из-за этого в длинной,

обязанной желтой шерстяной буддистской ниточкой Игоревой шее было что-то такое же беспомощное, как и в его очках. И, как очки, пуловер тоже был дорогой, из какого-то элитного бутика, для которого Игорь делал сайт примерно полгода назад. Впрочем, для того, чтобы отличить этот элитный пуловер от обыкновенного самовяза, требовался очень наметанный глаз.

– Давно ты пришла? – Игорь улыбнулся, снял очки и протер их рукавом.

Не отвечая, Полина пожала плечами. Ничуть не смутившись ее молчанием – точнее, не заметив его, – он сказал:

– Что-то есть хочется. Ты ела?

– Я не ела. Но мне не хочется, – наконец ответила она и опять замолчала, ожидая продолжения.

– Может, в холодильнике посмотришь? – снова улыбнулся Игорь. – Кажется, капуста была...

– А ты что, в иудаизм перешел, шаббат справляешь? – не выдержала Полина. – Сам не можешь холодильник открыть?

Сколько угодно времени могло пройти – три дня, три месяца, три года, – Игорь оставался неизменным. Ничему не удивлялся, ничем не возмущался, ни на чьи посторонние желания-нежелания не реагировал. Сколько раз она давала себе зарок не заводиться, и вот пожалуйста, все равно завелась с пол-оборота!

Он послушно встал, открыл холодильник. На средней полке сиротливо лежал кочан капусты и стояла бутылка подсолнечного масла.

– Ладно, пожарю, – вздохнула Полина; что толку было на него злиться! – Зря, что ли, ты вещи мои оберегал? В камере хранения и то платить надо.

Готовить она умела не особенно, но имевшиеся в наличии продукты и не предполагали ничего изощренного. Как и Игорев непритязательный вкус.

– На Кузнецком Мосту новый ресторан открылся, – сообщил он, посыпая жареную капусту какой-то красно-желтой индийской приправой. Полина чихнула. – Вегетарианский. Я на открытии был – хорошо готовят. Морковные пирожные вкусные. Такие, знаешь, как будто в фольгу завернутые, но фольга тоже съедобная.

– Для буддистских кроликов? – поинтересовалась Полина.

– Зачем ты злишься? – пожал плечами Игорь. – Сама ведь пришла.

– Я за вещами пришла, – отрезала она. – Это ты меня в семейный ужин втравил.

Она смотрела на него, жуящего жареную капусту, и пыталась вспомнить: с какого дня, с какого хотя бы месяца того года, который они прожили вместе, он стал ее так раздражать? И не могла вспомнить. А главное, не могла связать нынешнее свое раздражение с тем днем, когда увидела Игоря впервые.

Глава 2

На этюды Полина поехала этим летом как-то по инерции. Просто она лет с пятнадцати привыкла ездить на этюды, и даже родители давно смирились с тем, что их младшая дочь исчезает на месяц, а то и на дольше с какими-то никому не известными людьми. Да и, в конце концов, что могли возразить родители? Дочка училась в художественной школе, потом в Строгановское поступила, и вообще, хоть она и рисует как-то, на их простой вкус, странно, но ведь ее работы даже на взрослые выставки берут. А на этюды все художники ездят, ничего не поделаешь, приходится отпускать...

Примерно так рассуждала мама, и примерно это она говорила, когда Ева, старшая сестра, удивлялась родительской снисходительности.

Ева не столько удивлялась, сколько обижалась немножко. Ей было двадцать восемь лет, когда Полинке исполнилось пятнадцать, и ей действительно было непонятно, почему мама начинает нервничать, когда старшая дочь, взрослый человек, к тому же учительница, задерживается на час после работы и почему

остается совершенно спокойной, когда младшая пропадает все лето где-нибудь на мысе Казантип, скитаясь по степям «как Велимир Хлебников».

Впрочем, этому только Ева могла удивляться, потому что не видела себя со стороны. А всякому другому человеку все становилось понятно, когда он заглядывал в Евины глаза. Невозможно было не заметить, какая трепетная, странная, незащищенная жизнь стоит в них, словно в глубокой воде. И за Еву сразу же становилось страшно: как жить на свете с такими глазами?..

Ну а Полинкины глаза – папины, чуть раскосые, похожие на черные виноградины, так и стреляющие из-под длинной рыжей челки то с веселым любопытством, то с ехидной насмешкой, – ни у кого никакой тревоги не вызывали. Наоборот, все Гриневы с самого ее детства знали: уж кто-кто, а Полинка и за словом в карман не полезет, и сумеет за себя постоять – за свое право рисовать так, как она хочет, и так, как хочет, жить.

В общем, на этюды она ездила каждое лето, поехала и после первого курса Строгановки. По инерции поехала, потому что все для себя она уже решила...

На этюдах, как всегда, было довольно весело. Все они были молоды, полны сил, честолюбивых планов и решимости что-то доказать миру в целом и каждому из десяти собравшихся вместе художников в частности. А деревня Махра, куда они приехали в самом начале июня, словно отделила их от окружающего мира, предоставив доказывать друг другу все, что угодно.

Поселились они, правда, не в самой деревне – длинной, пыльной и какой-то бестолковой, – а в заброшенном пансионате на противоположном от Махры берегу реки Молокчи. При советской власти пансионат принадлежал, как говорили, влиятельной газете, но теперь никому до него не было дела, и десять деревянных домиков тихо ветшали на просторном холме под соснами. Наверное, когда-нибудь нынешние владельцы пансионата должны были бы спохватиться и взяться за благоустройство своей собственности, но пока всей этой неразберихой, бесхозностью и живописной заброшенностью пользовались художники.

Крыльцо, широкое и высокое, как лестница барской усадьбы, угрожающе скрипело и покачивалось даже под невесомой Полиной, которая первая

выбралась на него утром. Настроение у нее было отличное, несмотря на выпитое вечером невероятное количество настойки с красивым названием «Рябина на коньяке». Рябина в настойке, приобретенной в махринском сельмаге, вроде бы присутствовала, а вот коньяк вызывал большие сомнения. Во всяком случае, голова наутро болела так, как ей положено болеть не от коньяка, а от нормальной бормотухи.

«Ну и наплевать, – весело подумала Полина, судорожно, впрочем, сглатывая и морщась от подступающей к горлу тошноты. – До родника бы только доползти, потом до речки...»

А чего ей было грустить? Все, что весь год вызывало у нее раздражение и недовольство собою – глубокомысленная пустота вперемежку с деловитой мастеровитостью, которая сплошь ее окружала, – осталось за чертой лета. И каждый долгий ленивый день целого месяца, прожитого в Махре, был исполнен свободой – именно той, которую она любила: свободой рисовать, что рисуется, не понимать, что не понимается, и, в конечном итоге, никому в своем непонимании не отчитываться. Она получала такое удовольствие – просто физическое удовольствие, аж в носу щипало – от своего непонимания, которое с полной бесцельностью переносила на кусок оргалита, что жизнь впервые за целый год казалась ей прекрасной.

Крыльцо снова закачалось и задрожало: проснулась Дашка, ее комната выходила на одно крыльцо с Полининой. В заброшенности махринских домиков одним из главных плюсов было то, что каждому из приехавших художников досталось по отдельной комнате. Правда, с текущими потолками, с незакрывающимися окнами и напрочь прогнившими полами, но обращать внимание на такие мелочи было бы просто смешно. Как и на то, что стены между комнатами даже не картонные, а словно бы бумажные, и интимная жизнь поэтому сразу же становится достоянием общественности. Стесняться интимной жизни у них вообще было не принято, даже наоборот, принято было обсуждать ее прилюдно и подробно, и стыдно было бы признаться в том, что тебя от этого слегка передергивает.

– Бли-ин!.. – простонала Дашка, чуть не на четвереньках выползая на крыльцо. – Какой же Лешик все-таки гад! Говорила ему, не бери ты это говно паленое, какая там, на фиг, может быть рябина? Она ж дешевле, чем бутылка пустая, настойка эта гребаная!

Все сорок две Дашкины русые афрокосички со вплетенными в них разноцветными тряпочками торчали в разные стороны, и вид у нее от этого был такой, что Полина засмеялась. Может быть, именно из-за этих косичек Дашку называли Глюком. А может, и не из-за косичек, а просто так, без видимой причины.

- Ну чего ты ржешь? - обиделась Глюк. - У самой, что ли, головка не бо-бо?

- Бо-бо, - кивнула Полина. - Просто ты на пьяного ежика похожа.

- Конечно, тебе хоть сколько пей, - проныла Глюк. - Тебе зачем голова? Цветуечки рисовать - вообще головы не надо.

Дашка относилась к натуралистической живописи с насмешкой, в этом они с Полиной были вполне солидарны, и именно поэтому она особенно издевалась над Полининым неожиданным летним увлечением: рисованием маслом на оргалите «лужайки под микроскопом» - так Дашка это называла.

Полина и сама не совсем хорошо понимала, почему ее вдруг потянуло изображать бесконечный луг с блеклыми цветами, названий которых она не знала. Ей нравилось то, что цветы здесь, на махринском лугу, вот именно блеклые, едва отличающиеся друг от друга, и что в них нет ничего такого живенько-веселенького, что у нормального человека связывается со словом «цветочки». И трава здесь была не ярко-зеленая, а какого-то очень приглушенного и потому прекрасного цвета.

Иногда Полина брала круглый кусок оргалита, и тогда пейзаж производил марсианское впечатление - цветы и травы расходились концентрическими кругами, при взгляде на которые начинала кружиться голова. Иногда оргалит выбирался узкий и длинный, метра на два, и пейзаж напоминал какую-то странную реку. Но в любом случае было в нем что-то завораживающее - легко узнаваемое и вместе с тем такое, чего не бывает в обычной жизни.

Но Глюка это все равно раздражало так, как будто Полина предавала какое-то их общее дело.

- Натура натурата! - фыркала она. - Осталось только продукты начать изображать. Знаешь, картинки такие увесистые, в золоте, которые «новые

русские» для своих гостиных приобретают? То есть не для гостиных, а для залов... – насмешливо тянула Глюк. – А может, к Шилову в ученицы запишешься? – хихикала она, зная, чем можно поддеть Полину. – А что, будешь начальников рисовать, очень перспективно!

Полинка просто из себя выходила, слыша все это, аж лицо белым становилось.

Сама Глюк была увлечена сейчас видеоакциями. Перед самым отъездом в Махру у нее состоялась одна, в галерее «XXL»; Полина тоже ходила. В съемках акции был задействован Дашкин бойфренд, фотограф Дима, с которым она специально ради этого рассталась на месяц позже, чем планировала.

– Страдала ради искусства! – смеялась Глюк, и все ее косички весело прыгали над ушами.

На экране двух установленных в галерее телевизоров часами крутился короткий, в несколько кадров, фильм, персонажем которого был как раз Дима. Его задача заключалась в том, чтобы совершать простые движения – дергать себя за нос, чесать ухо. Эти движения повторялись на экране два, три, десять раз... К сотому разу Диму хотелось задушить. Хорошо, что Глюк с ним рассталась и он ни разу не появился на выставке! Вон, во время прошлого перформанса жильцы дома, в котором располагалась галерея, недолго думая, вылили на участников, семерых милейших и добродушнейших трансвеститов, ведро кипятка...

– Смысл в том, чтобы показать, как невинные привычки могут стать абсурдом, манией, – объясняла свою акцию довольная Глюк.

Впрочем, Полина и без объяснений об этом догадалась. И, как всегда, когда она легко могла объяснить то, что положено было считать искусством, ей хотелось смеяться и злиться одновременно. Но ни смеяться, ни злиться было нельзя, потому что Глюк, конечно, решила бы, что Полина ей завидует. А чему тут было завидовать? Разве что тому, как при всем этом Дашка умудрялась легко, без малейшего сомнения, выполнять все институтские задания. То есть делать как раз то, чего Полина делать не умела. То есть умела, конечно, и ничего хитрого не находила в том, чтобы правильно нарисовать кувшин, но вот именно не умела быть при этом такой спокойной, такой уверенной в правильности того, что она делает... Лучше было обо всем этом не думать!

Хотя бы сейчас, бесконечным этим махринским летом. Да Полина, в общем, и не думала. Рисовала цветочки, сама не зная зачем, и ей было хорошо.

– Сегодня медитативная дискотека будет, – вспомнила Глюк. Она достала пачку сигарет из чьего-то резинового сапога, стоящего на крыльце, и закурила. – Мальчиши зажигают. Пойдешь?

– Какая-какая дискотека? – удивилась Полина. – Где будет, в клубе, что ли, в Махре?

– Ну ты совсем! – хмыкнула подружка. – В клубе! Кому там медитировать, дояркам? Говорю же, наши мальчиши придумали. Совсем ты одичала со своими цветиками. Вчера буддист приехал, психоделическую музыку привез, вот и дискотека. Фу, сигареты ногами как воняют! – поморщилась Глюк. – Кто их в шузы запихнул, не ты?

Психоделическая, то есть, если не вдаваться в умные объяснения, просто написанная под кайфом музыка Полине нравилась. Не любая, конечно, но попадалась ничего.

– Не я, – ответила она. – Это Лешкины сапоги, он же вчера домой босиком ушел. Он и запихнул, наверно. А откуда буддист, из Тибета?

– Прямо, из Тибета! – хмыкнула Дашка. – Из Москвы, конечно. Ой, башка как боли-ит... – снова застонала она. – И жрать хочется, как будто не пили вчера, а ширялись. Есть у нас чего пожрать, Полин?

– Яйца есть, – ответила та. – Свойские, вчера из деревни принесли. Только я их в краски хотела добавить, посмотреть, что получится.

– С ума сошла! – возмутилась Глюк. – Это на тебя, что ли, фрески в Александрове так отрицательно подействовали? А кавьяр не хочешь в краски добавить? Тоже мне, Андрей Рублев! Принеси воды, а, Полли? – заискивающе попросила она. – А то меня ножки не держат.

Родник прятался на склоне холма, за крайним, с заколоченными окнами домиком. В воде плавали листья и сухие сосновые иголки. Полина сбегала к

роднику, потом поджарила яичницу для Глюка, а сама выпила оставшиеся два яйца сырыми, потом они с Дашкой пили кофе со сладкими махринскими сливками, сидя на теплых ступеньках высокого крыльца...

«Сидеть бы так и сидеть, – думала Полина с каким-то ленивым счастьем. – И зачем отсюда уезжать, и куда?»

...Медитативная дискотека началась ближе к полуночи. Дни в июле были длинными, и долго пришлось ждать, пока красная крыша соседнего дома трижды изменит свой цвет на закате – сначала на темно-розовый, потом на багрово-сиреневый, потом наконец на густо-фиолетовый. Полина могла целый вечер наблюдать за тем, как меняется цвет этой давно не крашенной, облупившейся крыши.

Утром долго пела иволга, а вечером так же долго звонил колокол в монастырской церкви за рекой. Полине казалось, что никто по-настоящему не знает, зачем он звонил, так же, как никто не знает, зачем пела иволга. И от этого двойного незнания звон колокола и песня иволги звучали одинаково прекрасно.

Дом, в котором жили Полина и Глюк, стоял на самой просторной поляне, здесь и устроили дискотеку. На ступеньках крыльца расставили все, какие нашлись, стеклянные банки, в них зажгли тоненькие церковные свечи, привезенные из Александрова. Несколько банок развесили на сосновых сучках, банки покачивались, и огоньки в них дрожали, хотя ветра совсем не было и сосны стояли неподвижно. Наверное, какая-то непрерывная, ни от чего внешнего не зависящая жизнь шла внутри старых сосен, и от дуновения этой жизни колебались огни.

Музыка уже лилась из колонок вынесенного на крыльцо магнитофона. В ней и правда было что-то необычное, от чего сладко кружилась голова. Шизоватое, как называла это ехидная Полина.

Лешка Оганезов, главный организатор дискотеки, в любимой своей, вытянутой в длину и в ширину майке с надписью «Делай дело» сидел на крыльце двумя ступеньками ниже Дашки – так, что его плечи были втиснуты как раз между ее коленями, а голова лежала у нее на животе. Дело он при этом делал весьма

приятное: отрешенно прикрыв глаза, обеими руками гладил Дашкины голые ноги.

– А дискотека-то когда начнется? – поинтересовалась Полина, потрянув головой.

Ее слегка заворожила и музыка, и мерцание свечных огней, и невидимый ветер в соснах.

Лешка приоткрыл один глаз и лениво объяснил:

– А она уже началась, не догоняешь, что ли? Сексуальную энергию надо преобразовать в медитативную, вот я Глюкову энергию и преобразую. Хочешь, твою преобразую?

– Спасибо, обойдусь, – засмеялась Полина. – То есть ты обойдешься.

– Ну, покружись тогда, – разрешил Лешка. – Энергию вращения тоже можно преобразовывать. Тем более у тебя юбка подходящая. Я в Марокко в прошлом году был, на мировом сакральном фестивале, так там, прикинь, одна девчонка два часа вращалась.

– И что? – заинтересовалась Полина.

– Упала и достигла просветления, – объяснил Лешка. – Ладно, Полинка, кружись давай сама, не мешай людям медитировать.

Кружиться Полина не собиралась, хотя ее юбка, которую папа называл цыганской, – широкая, сшитая из двух разноцветных платков и стянутая на талии лохматой красной веревкой, – вполне располагала к каким-нибудь необычным движениям. Полина вообще не носила обычной, как у всех людей, одежды, которую называла тухлой. Эту цыганскую юбку она привезла из прошлогодней поездки на мыс Казантип, где они странствовали целой компанией, к которой то и дело присоединялись новые люди: художники с этюдниками и без, музыканты с дудочками, кришнаиты с барабанами и просто наркоманы. Тогда у нее еще была вплетена в волосы фенечка с глиняным колокольчиком, но колокольчик мешал спать, и фенечку Полина вскоре отрезала. Она не любила бессмысленные неудобства почти так же, как тухлую

одежду.

И именно поэтому не собиралась кружиться для достижения просветления. Поэтому, да еще по причине природного чувства юмора.

Она спустилась с крыльца и уселась на траву под сосной. Теперь та ни на минуту не прекращающаяся жизнь, которая гудела в древесном стволе, гудела и у нее в спине, и Полина поживалась, как от щекотки.

– Чему ты смеешься? – вдруг услышала она и удивленно оглянулась: ей-то казалось, никто не замечает в темноте ее улыбку.

– А ты что, спиной видишь? – спросила Полина, глядя вот именно в спину незнакомого собеседника.

Он сидел с обратной стороны дерева, видны были только его узкие, чуть шире соснового ствола, плечи.

– А ты думаешь, видят только глазами?

Полина почувствовала, как он улыбнулся. Именно почувствовала, потому что лица его по-прежнему не видела. И то, что она почувствовала его улыбку точно так же, как чувствовала невидимую жизнь дерева, к которому прижималась спиной, показалось ей таким странным и вместе с тем таким прекрасным, что она заглянула за сосновый ствол.

И сразу уткнулась лбом в затылок своего собеседника. Он по-прежнему не смотрел на нее, но вместе с тем слушал ее, вот прямо выбритым своим затылком слушал ее и чувствовал. Она поняла это так отчетливо, как если бы он сказал об этом вслух.

– Ну, это кто чем привык, – хмыкнула Полина. – Некоторые, например, задницей видят. И думают тоже.

«Интересно, обидится или нет?» – подумала она.

Собеседник не обиделся. И не обернулся.

– Знаешь, – сказал он, – есть специальные тренировки, после которых являются такие феерии, которые можно описать только приблизительно. С ними ни одна театральная постановка не сравнится. Они имеют очарование даже для тех, кто уверен в их иллюзорности. Вот их видят не глазами.

Он опять улыбнулся, и Полина опять увидела его улыбку, хотя перед глазами у нее по-прежнему был только затылок.

– А ты их видел, эти феерии? – спросила она.

Она спросила об этом без обычного своего ехидства. Почему-то сразу почувствовала, что этот странный человек говорит обо всем этом совсем иначе, чем, например, Лешка Оганезов говорит о преобразовании сексуальной энергии в медитативную. Было что-то в его голосе... Что-то светлое, внятное и серьезное.

– Нет, – ответил он, по-прежнему не оборачиваясь. – Это довольно трудные упражнения, но ведь они и должны быть трудными. Потому что в результате человек осознает: все воспринимаемые им явления так называемой реальности – только миражи, которые создаются его воображением. Сознание их порождает, оно же их и убивает.

– Кого, миражи? – спросила Полина. – Или явления реальности?

– И то, и другое, – ответил он. – Собственно, в этом и заключаются основы учения.

– Какого учения? – переспросила упрямая Полина.

– Учения мистиков Тибета, – спокойно ответил он.

– А, так это ты буддист, который музыку привез! – наконец догадалась она. – Ну, тогда чего же, тогда, конечно, все мираж, ясное дело.

Ее растерянность, даже оторопь, тут же прошла, и в голосе появились обычные интонации. За свои двадцать лет Полина перевидала множество адептов всевозможных учений – от сторонницы ортодоксального мусульманства скульпторши Гули, которая ходила на занятия в Строгановское в парандже, до

«голубых» телевизионщиков Гани и Гени, отправлявших культ вуду непосредственно в коммуналке на Сиреневом бульваре, где они жили в одной комнате с Гениной сестрой-лесбиянкой. Мелькнул однажды даже кальвинист, трудившийся помощником Жириновского. Поэтому удивить ее разговорами о тибетских мистиках было невозможно, и не это заставляло Полину вглядываться в бритый затылок очередного буддиста, встретившегося на ее насмешливом жизненном пути.

Но что-то заставляло же! Она даже прикоснулась ладонью к стволу у него за спиной, словно пыталась почувствовать это будоражащее «что-то».

И тут он наконец обернулся, и его лицо оказалось прямо напротив Полининого. Свечные огни дрожали в стеклах его очков, в этих неярких отблесках свечей и света, падающего из окон, особенно отчетливо видна была тонкость и выразительность всех черт его лица. И то светлое спокойствие, которое Полина сразу почувствовала в его голосе, было так же ощутимо во внешности.

Ее вдруг снова взяла оторопь и даже растерянность, которую она почувствовала, как только услышала его голос, и которая вообще-то совсем не была ей присуща. Полина почти рассердилась на этого чертова буддиста – с какой радости она должна перед ним теряться? – но тут он сказал:

– Если хочешь, мы можем посмотреть мои танки.

Он предложил это так спокойно и доброжелательно, словно ничего более правильного сделать сейчас было невозможно. Самое удивительное, что и Полина подумала в эту минуту то же самое: что нет ничего правильнее, чем смотреть эти неведомые танки, которые этот неведомый человек называет своими.

– Это что такое танки, стихи? – спросила она. – А как же их смотреть?

– Танки – это наши иконы, – ответил он, поднимаясь с земли. – Тибетские иконы на льне и шелке. Пойдем?

– Ну, пойдем, – кивнула, тоже вставая, Полина.

Она вдруг поняла, что, если бы он предложил ей не посмотреть танки, а, например, сию секунду отправиться в темный лес за грибами, она точно так же ответила бы «пойдем», хотя и при свете дня не различала, где восток, а где запад, и могла заблудиться в трех соснах, притом буквально в трех. Если бы когда-нибудь – да что там когда-нибудь, пять минут назад! – кто-то сказал ей, что с ней произойдет подобное, Полина подняла бы его на смех.

«Ну, посмотрю эти его танки, что такого, – подумала она все же с некоторым смущением. – Интересно же...»

Буддист остановился в самом развалюшном, крайнем у забора домике, где жил Лешка Оганезов. Здесь было сравнительно светло из-за горевших на шоссе фонарей, и только поэтому Полина не сломала ноги, поднимаясь вслед за своим спутником на полусгнившее крылечко.

Комната, в которую они вошли, смотрела окнами на противоположную от шоссе сторону, поэтому в ней не было видно ни зги.

– У Лешки лампа керосиновая есть, – вспомнила Полина. – Подожди, я сейчас принесу.

В комнате не было даже стола, только железная кровать без матраса, и она поставила зажженную лампу на пол. По бревенчатым стенам заплясали легкие тени – от Полининых растрепавшихся волос, от бритой головы буддиста, от его тонких пальцев, которыми он осторожно развязывал веревочку на прислоненных к стене картинах...

– Вот это – Зеленая Тара, – сказал он, устанавливая картины на узком подоконнике. – А это – Белая.

Танки были совершенно необычные, это Полина поняла с первого взгляда, несмотря на полумрак. Ткань была натянута на подрамники и грунтована, это она определила легко, но вот состав грунтовки определить ей не удалось. Так же, как и состав красок. Сама Зеленая Тара – пышногрудая женщина с благостной улыбкой на лице – не вызвала у Полины молитвенного благоговения, но она, эта Тара, была такого чистого малахитового цвета, что к нему невольно притягивался взгляд. Танка была обрамлена узорчатой парчой.

– А что за краски? – с интересом спросила Полина, еле удерживаясь от желания потереть пальцем священную женщину.

– Из непрозрачных минералов и сока растений, – ответил буддист. – Я краски сам делаю, и грунтую тоже сам. Для грунтовки смешиваю животный клей с мелом, а краски – вот это, видишь, малахит. Лазурит еще беру, ляпис-лазурь. А для Цеу Марбо брал киноварь. Он же красный, огненный, Цеу Марбо, – добавил он, улыбнувшись.

Улыбка у него была такая, что не ответил бы на нее разве что столб. Казалось, все вокруг должно перевернуться от такой улыбки.

Но ничего не перевернулось в пустой комнате, только тени замерли на стенах. Полина улыбнулась в ответ.

– Ты их всех, что ли, сюда привез? – спросила она. – Покажи Цеу Марбо!

– Цеу Марбо не привез, – прямо и ясно глядя на нее, ответил он. – Я только эти две привез, потому что хочу еще одну Тару здесь начать, Белозонтичную.

– Это цветочную, да? – неизвестно чему обрадовалась Полина. – Здесь такие зонтики растут! Цветы – не цветы, трава – не трава, такие огромные, блеклые, то ли белые, то ли зеленые... Очень живые. И грибы есть, тоже зонтики. Я таких грибов никогда раньше не видела. Думала, это поганки, а оказались вкусные, и жарятся за три минуты.

– Вообще-то не цветочную, – ответил буддист. – Просто у нее белый зонтик в руках, вот и Белозонтичная. Этот зонтик – одно из семи сокровищ и один из восьми благоприятных символов, – объяснил он. – Означает, что добродетель Будды равно нисходит на все живые существа. А вообще-то Белозонтичная Тара помогает домохозяйкам.

– Ну, тогда это не ко мне, – махнула рукой Полина. – Из меня домохозяйка никакая. Но краски такие делать – это я попробовала бы. Мы тут пару дней назад в Александров ездили, фрески смотрели. Это же Александровская слобода была, там очень старые есть фрески в церквях, и иконы тоже. И, знаешь, мне даже страшно как-то стало... – Она на секунду замолчала, словно ожидая, чтобы он спросил, почему ей стало страшно. Но он не спросил, и она продолжала, как

будто отвечая на его непрозвучавший вопрос: – А потому что я поняла, что иконы писать... Это, знаешь, обо всем забыть надо, ну совершенно ни о чем не думать, вот что мне показалось. Непонятно? – спросила она, хотя буддист по-прежнему молчал, только смотрел прямо в ее глаза, и она все время чувствовала, как от него исходит этот ясный свет. – У икон вся тайна – только в технике! – торжествующе заявила она. – Если ты технику освоишь, то все у тебя и получится, а болтовня всякая про духовность или про что там еще – вообще ни при чем. Только как ее освоить, такую технику, это и есть вопрос.

Тут Полина замолчала, словно захлебнулась. Она вдруг поняла, что говорит совершенно незнакомому человеку то, что и себе самой до сих пор не умела высказать ясными словами. И это при том, что человека она увидела ровно десять минут назад и что он ни о чем ее, в общем-то, не спрашивает.

– Что реальность – это мираж, а мираж – это реальность, я и сама могу на уши навешать, дело нехитрое, – сказала она. – А вот как сделать, чтобы вообще ничего говорить не надо было, – в этом весь и фокус.

«Теперь точно обидится», – весело подумала она.

И тут же с удивлением поняла, что ей совсем не хочется обижать этого ясного человека. И даже более того – что ей жалко его обижать.

– Знаешь, я ведь живу... как-то за пределами даже надежды и страха, – сказал он, снова улыбаясь этой своей необыкновенной, беспомощной и спокойной улыбкой. – Меня невозможно обидеть.

– За пределами надежды и страха? – хмыкнула Полина. – Ну-ну... И видишь ты не глазами, и слышишь не ушами. Имя у тебя хоть есть? Или ты безымянная сущность?

После пяти минут общения с ним Полина была готова к тому, что его зовут как-нибудь... Калу Ринпоче, например, что-то такое она слышала от одного буддиста, забредшего пару месяцев назад на Глюков чердак в Монетчиковском переулке. Вообще, буддистов среди художников, поэтов и прочих представителей творческих профессий, в хороводе которых Полина вертелась лет с пятнадцати, было довольно много. Но этот чем-то отличался от всех, а чем – она не понимала.

- Имя есть, - кивнул он. - Игорь.

- Вот просто так - Игорь? - восхитилась она. - А меня Полиной зовут.

- Красивое имя.

- Обыкновенное. - Она пожала плечами. - Родители думали, оно оригинальное, потому что среди их ровесников ни одной Полины не было. А в детском саду, кроме меня, три Полины было, и в классе две. Оказывается, все оригинальное приходит во все головы одновременно. Но вообще-то меня в честь маминой мамы назвали, так что на оригинальность наплевать, - добавила она.

- Тебе со мной, наверное, скучно, - сказал Игорь. - У тебя очень живой характер.

- Что есть, то есть, - усмехнулась Полина.

«Разговариваем, как Маленький Принц с летчиком, - подумала она. - Я о своем, он о своем».

- Хочешь, я тебе анекдот расскажу? - вдруг предложил Игорь.

- Что-о расскажешь?! - засмеялась Полина. - Анекдот? И какой же, интересно? Про Петьку с Василь Ивановичем или, может, про поручика Ржевского?

- Почему? - С ума можно было сойти от его улыбки! - Просто один буддистский анекдот, хочешь?

- Излагай, - разрешила Полина. - А я и не знала, что у буддистов анекдоты бывают, думала, только эти, как их... мантры!

Она забралась с ногами на жалобно скрипнувшую кровать и, положив руки на согнутые колени, подперла кулаками подбородок, приготовившись слушать.

- Был прекрасный день, на берегу было тихо, солнечно и тепло, - начал Игорь.

Полина не удержалась и хихикнула.

– На либретто похоже, – объяснила она. – Меня в пять лет в Большой театр на «Лебединое озеро» повели, я потом либретто наизусть выучила – потрясло, видимо, детское воображение. Вот там что-то вроде этого и было. Папа говорил, когда я гостям декламировала: «Зигфрид, мечтательный, романтичный юноша...» – все ухохатывались. Ну ладно, извини, не буду. Так чего там в солнечный деньстряслось?

Игорь спокойно переждал ее тираду и продолжил:

– Папа римский, Саи-Баба и Кармапа решили покататься на лодке, чтобы отвлечься от своих обязанностей. Через пару часов Саи-Баба разглядел на берегу «Макдоналдс». «Эй, я жутко проголодался. Схожу за биг-маком». Он спрыгнул с лодки и быстро зашагал по воде. Кармапа сказал: «Здорово, я тоже иду». Спрыгнул за борт и пробежал по воде до берега, где Саи-Баба уже заказывал еду. Папа римский замялся, он никогда не ходил по воде. «Но если те двое нехристей смогли это сделать, то мне-то уж точно удастся». Он спрыгнул, бултыхнулся и исчез. Саи-Баба и Кармапа, почавкивая гамбургерами, увидели эту сцену. Кармапа сказал: «Это выглядело нехорошо». Саи-Баба сказал: «Да уж, нам следовало сказать ему про эти столбики под водой». Кармапа спросил: «Про какие столбики?»

– Все? – спросила Полина. – Уже смеяться? А кто такой, кстати, Саи-Баба? Ну, вообще-то понятно: получше папы римского, но уж точно похуже, чем Кармапа. Весело с вами, с буддистами!

– Ты любишь, чтобы было весело, – то ли спросил, то ли просто так произнес Игорь. – А ведь любовь другая...

– Ты, может, даже знаешь, какая? – усмехнулась она. – Ладно, можешь не объяснять, я и так догадываюсь, что ты скажешь. Что-нибудь про белый зонтик, из-под которого в три ручья добродетель хлещет.

Но Игорь ничего не сказал. Он подошел к кровати и медленно опустился на колени перед сидящей на панцирной сетке Полиной. Она почувствовала, как ее снова охватывает то же самое ощущение, что и в первые минуты разговора с ним – когда он предложил посмотреть совершенно ей ненужные буддистские иконы и она поняла, что отправится за ним хоть в темный лес. Черт его знает, как у него получалось такое с ней вытворять! Полина ни разу в жизни не делала

того, что решал за нее кто-то, а не она сама.

«Может, и правда мистика? – подумала она почти с испугом. – Тибет этот... Кто его знает?»

Игорь осторожно положил руки на ее торчащие вверх острые коленки. Полина через юбку почувствовала, какие мягкие у него ладони.

– У тебя энергетика очень сильная, – сказал он. – Наверное, потому что ты рыжая. Яркая, как твои волосы.

Слова про энергетику Полина пропустила мимо ушей точно так же, как если бы он опять сказал что-нибудь про Кармапу. Но то, что просто физически исходило от его рук, от его спокойного голоса и ясного взгляда сквозь стекла очков, – это было сильнее слов и нужнее слов.

Игорь наклонил голову и поцеловал Полинину коленку сквозь юбку. Потом обнял ее за плечи, и коленки тут же уперлись ему в грудь.

– Ты боишься? – спросил он.

– Тебя? – спросила она. – Нет.

– Я сразу почувствовал в тебе такое близкое... Какой-то очень важный проблеск на моем пути.

– Да? – Даже в эту минуту она не могла удержаться от насмешки, хотя у нее почему-то перехватывало горло. – А вот я читала, когда люди целуются, то у них в губах рецепторы сразу производят анализ слюны и определяют, подходят они друг другу или нет.

– Но мы же с тобой еще не целовались. – Наконец-то он отреагировал на ее слова, а не произнес что-нибудь совсем отдельное. – Как же я определил?

– Ну так давай поцелуемся, – улыбнулась Полина. – Доверимся рецепторам, авось не обманут.

Улыбнулась она уже прямо в его губы – Игорь поцеловал ее раньше, чем отзвучало последнее слово.

Совершенно ни к чему все это вспомнилось сейчас. Все это было год назад, и все это было кончено.

Игорь доел капусту и посмотрел на Полину.

– Дом без тебя пустой, – сказал он.

– Кошку заведи, – посоветовала она.

– Пустое пространство можно использовать для самопосвящения, – как всегда, не в ответ на ее слова, а сам по себе произнес он. – Существует медитация ходьбы по кругу, я три раза ходил, по часу примерно. Руки за спину заложил и ходил вдоль стен. Не в мансарде, а в мастерской, чтобы совсем пусто. Важно не отвлекаться и только следить, как ставится стопа – движение за движением. Ты знаешь, – он посмотрел ей в глаза, – это, может быть, главный в моей жизни опыт, какая-то очень активная в памяти точка. Благодаря этому я что-то понял...

– Игорь, ты свихнешься, – сказала Полина. – И никакая Зеленая Тара тебе не поможет. Ты это хоть понимаешь?

Она вдруг представила, как он ходил совсем один по огромной, в два света, стылой отцовской мастерской, где стоят по углам гигантские скульптуры, и ей стало страшно.

– Оставайся, а? – сказал он.

– Я уже оставалась. Год тут прожила, обратил внимание? И зачем я тебе нужна, объясни, пожалуйста! Гуськом по стеночке ходить?

– Если ты о деньгах беспокоишься... – начал он.

– Я о деньгах не беспокоюсь, – отдельно и резко сказала Полина. – И ты это прекрасно знаешь.

– ...то у меня заказ есть, – продолжил он. – От частного шахматного клуба. И на веб-сайт, и на оформление помещения. И я уже знаю, как сделать. Так что деньги будут.

– Рада за тебя, – кивнула она. – Хоть от медитации отвлечешься, а то...

– Если бы ты только знала, как ты мне нужна!

Игорь произнес это так, что Полина взглянула на него удивленно. Эмоции в его голосе – это было из области фантастики.

– Ты вот смеешься, – сказал он, – а я и правда иногда чувствую: как-то смещается все в голове. Без тебя.

Полина поморщилась. Игорь никогда не давил на жалость – кажется, он даже не знал, что это за чувство такое, – и никогда не обманывал. То, что он сказал, было правдой, это она понимала.

– За домом забор упал, – задумчиво протянула она. – Просили же тебя родители хоть рабицу натянуть. Хочешь, чтобы козы в саду паслись?

– Да, Мария Дмитриевна держит коз, – кивнул Игорь. – Она мне вчера молоко приносила. Жаль, я не знал, что ты придешь, оставил бы. Ты же любишь молоко. Помнишь, в Махре?

– Я коровье люблю, – вздохнула Полина, – а козье вонючее. Зря ты подлизываешься.

Она совершенно не хотела ему улыбаться, и острая иголочка жалости, как-то незаметно воткнувшись в сердце, тоже была совсем некстати. Но улыбнулась все-таки, и Игорь тут же улыбнулся в ответ этой своей невыносимой улыбкой.

– А я мамины мозаики обнаружил, – сказал он. – Знаешь в саду сарай, как раз где забор упал? Посмотри, если хочешь.

– Который сарай, деревянный или каменный? – заинтересовалась Полина. – И разве твоя мама мозаикой занималась?

– Она всем занималась понемножку, – пожал плечами Игорь. – Офортами тоже – видела станок в мастерской? В Америке, говорит, витражами увлеклась. Она же вообще увлекающаяся. Вроде тебя.

– Да уж ты, видно, не в нее удался, – хмыкнула Полина. – Ладно, давай ключи от сарая, посмотрю мозаики.

– А останешься? – спросил он, доставая связку ключей из стоящей на кухонном столе каменной конфетницы.

– За мозаики посмотреть? – засмеялась Полина. – Если это условие, то я лучше в музей схожу. И вообще, что ты заладил: «Останешься, останешься»! У меня, между прочим, даже зубной щетки с собой нету.

– Можно пока без зубной щетки, – откликнулся Игорь. – А потом сходишь и купишь.

– Это ты можешь без зубной щетки, – хмыкнула она. – Хоть пока, хоть совсем. Да и без всего ты можешь. А я не могу.

– Это тебе кажется. – Он взял ее за руку. – А на самом деле...

– Ой, вот только не надо... про пустоту феноменов, или про что там еще?! – поморщилась Полина, отнимая руку. – Ключи давай от сарая.

Глава 3

Еще с лестницы, открывая дверь родительской квартиры, Полина услышала мамин голос.

Злато колечко с камушком маленьким синим,

На мое счастье, на счастье каждой дивчине...

За то колечко дней молодых, незабвенных

Я отдала бы сотни колец драгоценных... —

пела Надя.

Голос у нее и до сих пор, на шестом десятке, был молодой, и в нем до сих пор слышалось какое-то загадочное обещание. Она всегда удивлялась, если кто-нибудь это замечал, – говорила, ничего особенного нету в ее голосе, на Украине у каждой третьей женщины такой.

«А чего это папы дома нет? – удивилась Полина. – Суббота же. Или он в командировке?»

Эту песенку мама пела, только когда папы не было дома. Валентин Юрьевич до сих пор вздрагивал, когда ее слышал, хотя они с Надей прожили вместе почти сорок лет и, по Полининому разумению, все истории дней молодых-незабвенных должны были бы уже давно кануть в Лету, или куда там еще бултыхаются истории молодости. Ну, была мама в семнадцать лет влюблена в польского студента, ну, даже и родила от него Еву, – это что теперь, сорок лет переживать?! Такие временные отрезки были для Полины более непредставимыми, чем периоды жизни динозавров.

Да к тому же она была уверена: ни о чем таком мама и не переживает, просто ей нравится песенка, вот и все. Какой там польский студент с его колечком! Вон, приезжал он недавно, этот пан Адам, захотел, видите ли, посмотреть на дочку, про которую за тридцать с лишним лет ни разу не вспомнил и которая даже не знала о его существовании. Ну и что? Маму он заинтересовал не больше, чем заинтересовал бы сосед по детсадовскому горшку. Даже меньше заинтересовал ее этот пан Серпиньски; поговорили полчаса да расстались – видимо, еще лет на тридцать, а скорее всего, навсегда.

Колечко, которое он когда-то подарил Наденьке, было, правда, красивое. Стильное такое, старинное колечко с двумя маленькими бриллиантами. Бриллианты были расположены так, что один из них всегда был виден, а другой словно бы спрятан в ладони.

Это колечко Полина, сколько себя помнила, видела только на Еве: Надя подарила его старшей дочери на шестнадцатилетие.

Ева, кстати, и объяснила сестре, почему мама поет про колечко.

- Это из «Варшавской мелодии» песенка, - сказала она. - Спектакль такой есть, знаешь?

- Откуда мне про всякие доисторические ужасы знать? - хмыкнула Полина.

- Но с Польшей, по-моему, просто случайное совпадение или какая-то очень далекая ассоциация. - Ева, как обычно, не обратила внимания на сестричкино ехидство. - Искусство ведь связано с жизнью очень тонко, опосредованно, это не повтор жизни, а что-то совсем другое. Да ты и сама понимаешь. Так и эта песенка - на самом деле она вне маминой жизни. А поет почему? Ну, чем проще мелодия, тем ближе к сердцу, - сказала она.

- Как-как? - заинтересовалась Полина. - Здорово ты придумала!

- Это не я придумала, - улыбнулась Ева. - Это Набоков. Я ничего такого придумать не могу, ты же знаешь.

- Зато ты на все случаи жизни что-нибудь такое вспомнить можешь... Душевное! - засмеялась Полина. - Ну, у тебя другие дарования. Время определяешь без часов, и вообще...

Что «вообще», Полина уточнять не стала. «Вообще» - было то, что отличало ее сестру от всех нормальных людей. Может нормальная женщина шесть лет быть влюбленной в какого-то гада, который помыкает ею как хочет? Ясно, не может, уже через месяц подобной любви всякая пошлет его подальше, а через два месяца забудет. Может, опять-таки, нормальная женщина выйти наконец замуж - ну, пусть за скучного, как маринованные огурцы, но все-таки, по всем понятиям, приличного мужчину, уехать с ним в Вену, а через год от него уйти, потому что, видите ли, она его совсем не любит? Ясно, не может: всякая нормальная женщина понимает, что в тридцать пять лет мужиками не разбрасываются. А Ева именно так и поступила, да мало того...

Тут Полина заглянула на кухню, и ее размышления о старшей сестре временно прервались.

Надя сидела за столом напротив Ванечки. Перед Ванечкой стояла тарелка с борщом, и он рассеянно болтал в ней ложкой.

- Ванюшенька, ну почему ты не кушаешь? – расстроено увещевала его Надя. – Разве не вкусно?

- Кусно, – серьезно кивал тот, но ложку ко рту не подносил.

- Давай покормлю, а? – вкрадчиво предлагала Надя. – За маму, за папу...

- Не-е, – отрицательно качал головой Ванечка. – Баба, не койми. Баба, пой!

Полинка засмеялась. Кормление Ванечки было делом почти безнадежным. Есть этот сосредоточенный ребенок не хотел ничего и никогда, приводя в отчаяние бабушку, которая не чувствовала себя спокойной, если дети плохо ели. Мало того, Ванечка категорически не разрешал себя кормить – видимо, это противоречило его понятиям о самостоятельности. В том, что в два года он имеет довольно много сложившихся понятий, сомневаться не приходилось.

Он, например, всегда сидел за столом на взрослом стуле и ни за что не хотел садиться на детский, который бабушка с дедушкой купили специально для внука. И сейчас на детском стуле сидел не Ванечка, а рыжий сибирский кот Егор, умильными глазами взирающий на тарелку с борщом.

- Ну что с ним будешь делать? – расстроено сказала Надя, увидев Полину. – Худенький, как воробей, бледненький... Нет, «баба пой» – и больше ничего ему не надо! Может, тебя послушает? Ты ему зубы пока позаговаривай, а я тебе обед разогрею. Час ведь вокруг него уже верчусь, остыло все.

Надя отвернулась к плите, и Ванечка тут же протянул ложку с борщом коту. Егор не заставил себя упрашивать – мгновенно проглотил борщ и слизал с ложки мелко нарезанное вареное мясо.

– Ты что это делаешь?! – ахнула некстати обернувшаяся Надя. – Полина, а ты куда смотришь? Ванюша, разве можно с котом из одной ложки есть? Глисты заведутся!

– Не заведутся, – махнула рукой Полина. – Правда, Нюшка? Егорушка у нас чистенький, хороший.

– Гоуська кавосий, – согласно кивнул Ванечка, протягивая коту следующую ложку.

– И ты туда же! – возмутилась Надя. – Что за манеру Юра завел, все ребенку разрешать? Я с Женей серьезно поговорю. Он же так на голову им сядет!

– Никуда он им не сядет, – снова отмахнулась Полина. – И вообще, ма, это несущественно.

– А что у тебя, интересно, существенно? – вздохнула Надя. – И где ты, кстати, была? Я звоню, звоню... Пошла вещи собирать – и как в воду канула.

– Никуда я не канула, – засмеялась Полина. – Я к Игорю ходила.

– И что? – В Надином голосе сразу почувствовалась настороженность.

– И ничего. Желает, чтобы я обратно к нему вернулась.

– А ты что желаешь?

– А я вот размышляю... – с задумчивым видом протянула Полина. – Я у него, представляешь, кое-что новенькое в мастерской обнаружила. Довольно интересное. Может, и правда вернусь, временно хотя бы, пока технику мозаики не освою.

– Безобразие! – рассердилась мама. – Технику она освоит! В институте надо было технику осваивать, а не бросать с бухты-барахты учебу. Всю голову ты нам задурила выкрутасами своими и Игорем этим! К нему уходишь – ничего не объясняешь, от него уходишь – то же самое... Хотя познакомила бы с ним, все спокойнее.

– А зачем тебе с ним знакомиться? Ему эти знакомства по барабану, ну, и ты наплюй. И что ты хочешь от меня услышать? – пожала плечами Полина. – Про неземную любовь? Так это не ко мне, это ты Еву спроси.

– Вас спросишь, – вздохнула мама. – Что тебя, что Еву. И Юра все в себе держит, ничего наружу. А ведь правду бабушка Миля покойная ему говорила: такая сдержанность ни к чему хорошему не приведет...

– Он дежурит сегодня? – спросила Полина.

– Нет, выходной. Но его на операцию срочно вызвали, – ответила Надя, – а у Жени вечерний эфир, привезла вот Ванечку.

– А Ева не звонила?

– Да она же здесь, днем еще пришла. В детской прилегла, уснула. Усталая какая-то. Или, может, с юношей своим поссорилась?

«И хорошо бы», – ясно прочиталось при этих последних словах на мамином лице.

Надя все никак не могла смириться с Евиным неожиданным романом. Влюбиться в девятнадцатилетнего мальчишку, в собственного недавнего ученика! Диапазон Надиного понимания жизни был очень широк, но этот поступок старшей дочери все-таки в него не укладывался. Не говоря уже обо всем остальном, что с Евиным сумасшедшим романом оказалось связано, – о том, из-за чего Полина вот уже который месяц пыталась собрать вещи в гарсоньерке...

– Так она, может, и не спит вовсе, – оживилась Полина. – Пойду посмотрю. Я ее сто лет не видела уже, ну, неделю точно. Нюшка, – решительно обратилась она к племяннику, – если съешь восемь ложек борща и полкотлеты, куплю Егорке мышь с хвостом.

– Мышь? – с интересом спросил Ванечка. – Где мышь?

– Мышь на Птичке, – объяснила Полина. – Съезжу и куплю, посажу в банку, пусть Егор любит и адреналин ловит. Так как, слопаешь борщ?

– Какую еще мышь? – насторожилась Надя. – Мало того, что ты кота притащила, теперь еще мышей ему будешь таскать?

– Да ладно, мам, ну, поживет денек в банке, потом на дачу отвезете и выпустите, – сказала Полина. – Нюшке зато удовольствие.

– Большое удовольствие – мышь, – улыбнулась Надя; она не могла больше пяти минут сердиться на младшую дочь и на все ее нестандартные решения. – Ты бы ему лучше музыку какую-нибудь пообещала. Такой, можешь себе представить, музыкальный оказался ребенок! Я уже горло надорвала, все песни вспомнила, какие в Чернигове в молодости пела, а ему все мало.

– Я знаю, – кивнула Полина. – У него, может, вообще абсолютный слух. Женя его недавно к себе на работу брала, так звукореж что-то такое заподозрил. Она его педагогу теперь хочет показать, который по мелким детям специализируется.

– Маленький еще, – с сомнением покачала головой Надя. – Ну, Жене виднее.

– Зеня! – обрадовался Ванечка. – Мама Зеня!

– Вот съешь борщик, пойдем Женю по телевизору смотреть, – сказала Надя. – Кушай, кушай, слышал же, Полиночка мышку для кота принесет. Ну-ка, Егор, попроси Ванюшку, чтобы борщик скушал!

Пока проголодавшаяся Полина поглощала борщ и котлеты, Ванечка наконец разделался с обедом, умылся и отправился смотреть телевизор. Дверь в комнату была открыта.

– Здравствуйте! – донесся оттуда Женин голос. – Телекомпания «ЛОТ» и я, Евгения Стивенс, приветствуем в студии вечерних новостей всех, кто не утратил интереса к жизни!

– Мама! – обрадовался Ванечка и уточнил: – Мама Зеня.

Это уточнение было центром споров и сомнений с той самой минуты, как Ванечка появился в доме Гриневых. Юра расстался с его настоящей мамой и уехал с Сахалина еще до того, как родился ребенок. То есть Юрка, конечно, не

расстался бы с ней ни при каких обстоятельствах, если бы знал, что ребенок вообще намечается, но Оля просто не сказала ему об этом: не захотела, чтобы он оставался с нею из одной порядочности и надрывал себе сердце разлукой с Женей.

Юра узнал о существовании сына всего полгода назад. Олина родственница прислала ему письмо, в котором сообщила, что его законная жена умерла от порока сердца, и деликатно поинтересовалась, не собирается ли Юрий Валентинович все-таки присылать деньги на Ванечку. Конечно, Оля ни за что не соглашалась подать на алименты, хотя была в полном своем праве, но ведь теперь им, родственникам, сами понимаете, какво содержать ребенка, да еще чужого...

Надя тогда думала, что Юрку удар хватит. Даже Полина не могла без дрожи вспомнить, какое лицо было у ее брата, когда он сказал: «Хорошо мне живется на свете!»

Да еще все это, как нарочно, случилось сразу после его возвращения из Чечни, куда он ездил с отрядом спасателей Красного Креста. Что там с ним было, в этой Чечне, Юрка, как обычно, дома не рассказывал. Только Полине сказал – как всегда, словно бы мимоходом, – что однажды чуть не свалился в пропасть вместе с грузовиком, в котором вез больных из горного села, и что особенно жалко было двухлетнюю девчонку Хеди, которая сидела всю дорогу у него на руках, вцепившись в шею так, что у него в глазах темнело.

– Хорошо, что я тогда про Ваньку еще не знал, – сказал Юра. – А то бы вообще. Там же этих, маленьких... Ну, что об этом говорить.

Конечно, он не мог об этом говорить. Даже Полина, с ее способностью посмеяться над всем и вся, чуть не заплакала.

Ни одного человека на свете она не любила так самозабвенно, как Юру.

Полина проглотила последний кусок котлеты и заглянула в комнату. Камера как раз взяла Женино лицо крупным планом. Юрина жена, конечно, была телезвездой от Бога, и дело тут было не в пиаре и не в должности ее папы, президента телекомпании «ЛОТ». Просто ее лицо – красивое особенной, чуть отстраненной и холодноватой красотой, с высокими дугами бровей, с русыми

колечками на ясном лбу и узорчатыми, как светлые агаты, глазами, – это лицо каким-то неведомым образом прожигало телеэкран. На Женю хотелось смотреть не отрываясь, и казалось, что она сидит тут же рядом, не в телевизоре, а прямо в комнате.

Именно эта Женина холодноватая красота, ее статус телезвезды, вся ее жизнь, так сильно отличающаяся от Юриной, – именно это и вызывало мамину настороженность. Надя не верила, что такая женщина способна полюбить чужого ребенка и заменить ему мать. Полина на эту тему не высказывалась, но точно знала, что мама волнуется напрасно.

В чем состоит Женина загадка – а загадка была, этого невозможно было не видеть, – Полина не понимала. Но зато она понимала, что Женя, со всей ее холодной звездностью, полюбит даже крокодила, если он будет иметь хоть какое-то отношение к Юре. А уж тем более Ванечку.

Пройдя мимо гостиной, Полина заглянула в детскую. Эта комната, в которой они жили с сестрой, так до сих пор и называлась, хотя детство их давно кончилось.

Ева лежала на кушетке, укрыв ноги своим любимым, до невесомости легким клетчатым пледом, который папа когда-то привез из Шотландии.

– Не спишь, рыбка? – спросила Полина, садясь на свою кушетку.

Золотая рыбка – это было Евино домашнее прозвище. Полина сама его придумала, потому что сестра родилась в марте, под знаком Рыб. А ученики называли Еву Капитанской Дочкой – из-за фамилии. Впрочем, может, и не только из-за фамилии.

– Не сплю. – Ева подняла голову. – А как ты догадалась?

– Тоже мне, загадка для Шерлока Холмса! – хмыкнула Полина. – Ты же еще днем пришла, а ночник горит. Во сне ты его, что ли, включила? Ты чего это несчастная такая? – спросила она, приглядевшись.

– Совсем не несчастная, – улыбнулась Ева. – Вечно вы все про меня выдумываете. Просто голова болит.

– Баралгинчику дать? – предложила Полина. – Или коньячку хряпни. Голову как рукой снимет.

– Вот спасибо! – засмеялась Ева. – Хорошее средство! Нет, не надо таблетку. И коньячку тоже не надо.

– Почему это не надо? – Полина пригляделась к сестре еще внимательнее. – Да ты беременная, рыбка!

– Полина... – Евины глаза распахнулись просто как озера. Даже светлая поволока на мгновение исчезла; в глазах стояло только чистое изумление. – Ты ясновидящая, что ли?

– Ой, не могу! – захохотала Полина, падая на спину и хлопая себя ладонями по коленям. – Евочка, ты в зеркало смотришься иногда? Какое тут ясновиденье? У тебя же все на лице написано, знай только читай!

– Быть не может, – не поверила Ева. – Вы и правда с Юрой все выдумываете. Когда мы с ним маленькие были, он тоже говорил, что со мной в гляделки играть неинтересно, – улыбнулась она. – Потому что о чем я думаю, все на лице написано.

Юра был младше Евы всего на два года, они вместе росли и вместе играли в гляделки. А Полинка для них всегда была маленькая.

– И правильно говорил, – кивнула Полина. – Юрка уж если скажет что-нибудь, то не в бровь, а в глаз. Надо же, рыбка наша беременная! Ну, расскажи, расскажи! А давно? – с любопытством спросила она, окидывая быстрым взглядом Евину фигуру.

– Ничего еще не видно, четыре месяца всего, – улыбнулась Ева, поймав ее взгляд. Улыбка почему-то получилась жалкая.

– Ты не рада, что ли? – удивилась Полина. – Сама же вроде хотела.

«Хотела» – это было не то слово. Полина прекрасно помнила разговор, произошедший между нею и Евой ровно полгода назад.

Глава 4

Полина приехала в Кратово первой электричкой, хотя вообще-то ненавидела рано вставать. Но в этот день ей вставать не пришлось, ни рано, ни поздно: она попросту не ложилась. Дождаться в Глюковой студии – так пышно именовался чердак в Монетчиковском, – когда начнут поочередно просыпаться участники вчерашней пьянки, Полине совсем не хотелось. Она с закрытыми глазами могла рассказать, как все это будет: как все будут материться, бродить по комнатам, искать носки и лифчики, вяло спорить, кому идти за пивом... Любую предсказуемость Полина терпеть не могла, потому и убежала с чердака, как только открылось метро.

И шла по тихой дачной улице, с удовольствием чувствуя, как легким, поутреннему прохладным ветром выдувает из головы хмель. Да она почти и не пила всю ночь: выпивки было мало, денег тоже, а пить ей хотелось не очень, вот и оставляла от широты душевной для особо страждущих.

Полина была уверена, что на даче все еще спят, и собиралась потихоньку пробраться в дощатую пристройку, где обычно жила летом, и тоже вздремнуть часок-другой. Все-таки она устала от ночного бдения, да и нонконформистский фестиваль граффити, успешному проведению которого пьянка, собственно, и посвящалась, проходил довольно бурно – во всяком случае, со стороны милиции.

Поэтому она почти не обрадовалась, увидев старшую сестру, идущую ей навстречу по тропинке вдоль забора, хотя вообще-то радовалась ей всегда, особенно теперь, когда Ева с ними не жила и виделись они редко. Ева была частью лучшего, что составляло Полинину жизнь.

– Ранняя ты, рыбка! – Полинка подождала, пока сестра подойдет к калитке. – Засуха, что ли, чуть свет надо на колодец бежать, а то вычерпают? – Она кивнула на полное ведро в Евиной руке.

– Просто не спалось, – улыбнулась та, поставив ведро на острую весеннюю траву. – Вот что ты рано встала, это удивительно. Трудно было предупредить, что в городе останешься? – укоризненно спросила она. – Да еще не дома ночевала... Мама волнуется.

- Пора привыкнуть, - хмыкнула Полина. - Пусть за тебя волнуется, а со мной что делается? Не спалось... С Темкой опять что-нибудь? - поинтересовалась она.

- Нет, - покачала головой Ева. - Совсем нет, ну что ты. Я понимаю, вы от него теперь шарахаться должны, как от чумы.

- Ой, рыбка, - засмеялась Полина, - от Темки - шарахаться! Особенно я! Он у тебя что, всадник без головы? Обыкновенный парнишка, - поддразнила она сестру. - Ну ладно, ладно, необыкновенный.

- Все бы тебе смеяться. - Ева тоже улыбнулась.

- А тебе бы все страдать, - не задержалась с ответом Полина. - Все ведь уже нормально, долг отдали, живете как два голубка, чего тебе еще?

- Да уж, нормально, - вздохнула Ева. - Юра без квартиры из-за меня, это нормально, по-твоему?

- И совсем не без квартиры. Я же шикарную конуру в Чертанове для Юрки выменяла, забыла? Жить в ней, правда, нормальному человеку невозможно, ну так у Жени поживет, - махнула рукой Полина. - У нее, между прочим, голова на плечах, а не свинья-копилка. Думаешь, она Юрку квартирным вопросом попрекает?

- Не думаю, - кивнула Ева, - но все-таки...

- А все-таки - наплевать и забыть, - решительно сказала Полина. - Юрка забыл, и ты забудь. Живи да радуйся со своим Темкой обожаемым. Я позавчера на его выставке была, - вспомнила она. - Ничего себе фоточки, внушает. Ты широко представлена, - хихикнула она. - Особенно на тех, прозрачных. Почему он их «Последняя Ева» назвал, кстати?

Темины занятия фотографией считала баловством даже его мама, не говоря уже о Наде, которая вообще не могла понять, что ее дочь нашла в этом приемщике фотопленок. Только Ева была уверена в том, что Артем занимается именно тем, чем и должен заниматься.

И Ева была его главной моделью. В крошечной квартирке, которую они снимали в Лефортове, ее фотографий было столько, что даже Полина крутила пальцем у виска, когда время от времени забегала к ним в гости и обнаруживала очередную серию. Конечно, Евины фотографии были и на первой Артемовой выставке.

Выставка эта была необычная. То есть сама выставка, может, была и обычная, но устроили ее на Бородинском мосту – фотографии были развешаны прямо в стеклянной трубе, повисшей над Москвой-рекой. И от этого особенно завораживающе смотрелись те огромные, в несколько квадратных метров, прозрачные оттиски, которые особенно понравились Полине.

Артем сделал их на технической пленке. Они пересекали стеклянный Бородинский мост сверху вниз, колыхались от едва ощутимого сквозняка и смотрелись даже не как фотографии, а просто как контуры – прихотливые, странные, мгновенно меняющиеся, образующие какое-то невиданное пространство. И на всех была Ева, просто на всех! Стояла под деревьями, сидела у окна, мелькала в просветах улиц, уходила, вглядывалась во что-то своими немислимыми глазами... Неуловимой, волнующей трепетности ее облика как нельзя лучше соответствовала именно эта техника – оттиски на палево-серых прозрачных листах.

– Почему «Последняя Ева»? – переспросила она. – Я, знаешь, его отговаривала, хотя вообще-то никогда не вмешиваюсь. По-моему, претенциозное какое-то название. Но он так решил. Говорит, потому что таких женщин больше нет и не будет, – смущенно добавила Ева.

– Правильно говорит, – еле сдерживая смех, кивнула Полинка. – Товарищ понимает! Так почему тебе все-таки не спится? – напомнила она.

– Мне – не спится? – Ева сделала удивленное лицо.

– Рыбка, – рассердилась Полина, – когда ты пытаешься врать, тебя можно фотографировать для учебника по физиогномике. Есть такая наука?

– Нет, – улыбнулась Ева.

- Ну и фиг с ней. Ты не я, врать не умеешь, так что давай колись. Или я тебе не родственница?

- Родственница, родственница, - засмеялась Ева. И тут же печаль промелькнула по ее лицу, утонула в глазах. - Просто я вчера была у врача, и он сказал, что это наверняка.

- Что - наверняка? - удивилась Полина.

- Да, я ведь не тебе, я Юре как-то однажды говорила, - вспомнила Ева. - Наверняка - что я не смогу сама забеременеть.

- Это что значит - не сможешь сама? - тут же переспросила Полина; она всегда улавливала суть. - А другие что, сами беременеют? Непорочным зачатием?

- Это значит, что у меня спайки в обеих трубах, - спокойно объяснила Ева. - И никакого зачатия быть не может.

Как раз бы Полина поверила в ее спокойствие! Она тут же поняла, что вчерашний день перевернул Еве душу, и в ее собственной душе тут же словно маленькое лезвие провернулось.

- А Юрка что говорит? - спросила она.

- Юра не акушер-гинеколог, а хирург-травматолог, - ответила Ева. - Что он должен об этом говорить?

- Ну, может, он врачей каких-нибудь знает...

- Врачей я и сама знаю. Меня обследовали, и все врачи в один голос сказали одно и то же. Это довольно распространенное заболевание, лечить его трудно, а в моем возрасте на длительное лечение просто нет времени, и это тоже распространенная ситуация. Во мне вообще нет ничего замысловатого, - улыбнулась Ева. - И что такого особенного, если подумать? Обходятся ведь некоторые женщины без детей, и я тридцать пять лет обходилась, и дальше обойдусь. А Тема вряд ли вообще об этом задумывается, в его-то годы.

Она снова улыбнулась, и Полина рассердилась еще больше. Что некоторые женщины обходятся без детей, она и без Евы прекрасно знала. Да что там «некоторые», она сама была уверена, что обойдется без всяких детей! При мысли о том, чтобы рожать детей от какого-нибудь Лешика Оганезова, Полине хотелось удавиться. А Лешик был еще из лучших! А Игорь... Ладно, не об Игоре сейчас речь.

Но поверить в то, что без детей обойдется Ева, Полина не могла, хоть убей. Надо было совсем ее не знать, чтобы в это поверить.

Она сердито смотрела на сестру и грызла кончик рыжей пряди.

- Слушай! - вдруг вспомнила она. - А что-то я такое слышала, что детей в пробирке зачинают? Ну, типа гомункулусов.

- Зачинают, - кивнула Ева. - Но я этого делать не буду.

- Почему? - удивилась Полина. - Это же я так просто сказала насчет гомункулусов, нормальные дети получаются, ничего особенного. Третье тысячелетие на носу, рыбка! Скоро детей вообще из овец будут добывать.

Ева засмеялась так, что почти невозможно было уловить невеселость ее смеха. Но Полина, конечно, уловила.

- Ты, может, офигенно религиозная? - поинтересовалась она. - Типа, дети из пробирки не от Бога, и в налоговую ходить нельзя, потому что там число зверя выдают?

- Я в налоговую не хожу, потому что с учительской зарплатой туда не приглашают, - улыбнулась Ева.

- Не увиливай от ответа, - хмыкнула Полина. - Почему пробиреночка не хочешь?

- Потому что это такое дело... Слишком медицинское, - наконец выговорила Ева.

- То есть?

- То есть для этого надо превратить Темину жизнь в бесконечное хождение по врачам и... В общем, заставить его заниматься совершенно ему несвойственными вещами. Ты хоть представляешь себе, как происходит это зачатие?

- Нет, - заинтересовалась Полина. - А как оно происходит?

- Вообще-то и тебе ни к чему забивать этим голову, - вздохнула Ева. - Ну, для этого нужен материал...

- В смысле, сперма? - уточнила Полинка. - Ты, рыбка, проще выражайся. Ладно, я уже поняла. Чувствительная ты наша! Думаешь, Темкина тонкая душа надорвется от того, что он сперму в пробирку набрызгает?

- Полина! - укоризненно сказала Ева. - Ты совсем уже...

- А чего я? - хмыкнула Полина. - Говорю как есть, это ты у нас культурное слово «онанизм» и то выговорить стесняешься.

- Понимаешь, - вздохнула Ева, - у меня уже был однажды разговор...

- С Темкой?

- Со Львом Александровичем. Я ведь еще в Вене в первый раз задумалась, почему не беременею.

- Трахаться надо было чаще, - подсказала Полина; ей хотелось растормошить, даже рассердить сейчас Еву как можно сильнее. - А Лев Александрович твой небось раз в полгода просил, да и то не настаивал.

- Нет. - Ева на ее провокации не поддавалась. - У нас с ним все было совершенно нормально, регулярно и полноценно. И я не предохранялась, потому что, конечно, хотела ребенка. А он... Когда я ему сказала, что надо будет провериться у врача и, может быть, попробовать вот это твое пробирочное зачатие, он ответил, что заниматься этим не будет.

– Козел твой Лев Александрович! – сердито заметила Полина. – Обыкновенный старый козел.

– Ничего не козел, – серьезно ответила Ева. – Он сказал, что вся эта медицинская возня превращает мужчину в бабу. И теперь я думаю, что не так уж он был не прав. Даже мне как-то тошно становится, когда я целый день по этим кабинетам хожу, – объяснила она. – Да еще слушаешься... Думаешь, это так просто – смешал ингредиенты, и готово? Одна женщина, мы с ней в очереди на снимок вместе сидели, пятнадцать раз пробовала. Пят-над-цать! Ты понимаешь, что это значит?

– Не очень, – растерянно сказала Полина. – А что это значит?

– Это значит, что полтора года и она, и ее муж каждый месяц ходят в это милое врачебное заведение, что над ними бесконечно производят одну и ту же манипуляцию, еще и болезненную, кстати. Но это-то как раз неважно, потому что только для женщины болезненную, – уточнила Ева. – Дело в другом... Они ждут, надеются – и каждый месяц оказывается, что все напрасно, ничего не прижилось. Даже ее муж, спокойный человек, простой слесарь, сказал ей, что еще немного, и он сойдет с ума. Вот ты – стала бы ты всем этим заниматься?

– Еще не хватало! – ляпнула Полина и тут же разозлилась на себя так, что кровь прилила к щекам. – Да при чем тут я? А вот Юрка стал бы! – почти выкрикнула она.

– Ты тут при том, что Артем с тобой одного поля ягода, а не с Юрой, – спокойно ответила Ева. – Он художник в самом глубоком смысле этого слова, ты и сама прекрасно это понимаешь, и интересы у него в жизни соответствующие. Так что и незачем зря говорить. Ну, представь, – каким-то извиняющимся тоном сказала она, – даже если все это каким-то чудом удастся... Я все девять месяцев должна буду лежать в больнице ногами вверх и думать только о том, как бы не случился выкидыш по дороге в туалет, а вовсе не о том, что нужно от жены молодому мужчине... Вот вы все время говорите, что я не от мира сего. А я вполне нормальный человек, и, как вполне нормальный человек, я понимаю, что Артему двадцать лет, и то, что он живет с тридцатипятилетней женщиной, это... довольно странно с его стороны. По-твоему, я вообще гражданского подвига должна от него потребовать?

– Да наплевать на всех художников во всех смыслах слова! – заорала Полина. – Их как грязи кругом, велика ценность! А ты одна такая, Ева, больше таких нету!

– Он один такой, – тихо сказала Ева. – Он один такой во всех смыслах слова. Полиночка, – улыбнулась она, – но это же обычная логика, вы же сами говорите, что я не должна витать в облаках. Я и не витаю. Ребенка у меня никогда не было, мне не с чем сравнивать. А Тема... Я когда вспоминаю, как без него жила, то понимаю, что это не жизнь была, а сплошная бессмысленность. Тридцать пять лет бессмысленности, Полина! Думаешь, я соглашусь снова в это вернуться ради какого-то ребенка, которого я себе даже не представляю?

Ева говорила все это совершенно спокойно, с какой-то прямо-таки учительской убедительностью; Полина никогда ничего подобного не слышала в голосе своей сестры. Но когда Ева сказала о том, что не представляет себе «какого-то ребенка», вся логика, слышимая в ее голосе, развеялась как дым – из-за того выражения, которое мгновенно мелькнуло в ее глазах...

Конечно, она представляла себе этого ребенка, и именно потому представляла, что жить не могла без Артема! Без этого его внимательного взгляда, который называла серебряным и который всегда был обращен на нее, без его голоса, который совершенно менялся, когда он говорил с нею... Полина не понимала, какая связь существует между любовью Евы к Артему и ее желанием иметь от него ребенка, но она чувствовала, что эта связь есть и что отказаться от нее для сестры мучительно.

Но что она могла сделать, и даже – что она могла сказать?

– Ну чего ты ведра таскаешь? – сердито выкрикнула она. – Больше никому, что ли? Вон, Нюшку попроси, он и то соображает, кому надо тяжести таскать, а кому не надо!

– Да почему же мне не надо? – засмеялась Ева. – Я же не беременная, Полиночка, ты что?

И вот теперь то, что Ева считала невозможным, каким-то неведомым образом все же произошло, и Полина смотрела на нее с восхищенным интересом.

– А говорила, медицины, мол, не хочу! – хихикнула она. – И ничего себе оказалась медицина. Как это тебе удалось, кстати? – спросила она с любопытством. – И правда, что ли, непорочным зачатием?

– Не преувеличивай, – улыбнулась Ева. – В пробирке, как еще.

– Сперму во сне, наверное, добывала, – съехидничала Полина.

– Полина, перестань, – укоризненно сказала Ева. – Совсем нет. Он сам...

– Надо же, совершил-таки гражданский подвиг! – не унималась та.

– Ну зачем ты стараешься меня обидеть? – Ева посмотрела на сестру так, что ей сразу расхотелось дразниться. – Он просто увидел все эти снимки, справки и... рекомендации. Собственно, я и не прятала, они лежали в столе, я же не думала, что он обратит на них внимание. Но он увидел, прочитал и... В общем, он обиделся, – смущенно сказала Ева.

– На что? – не поняла Полина.

– На меня. Он сказал: «Ты считаешь меня ребенком, которого надо оберегать, и мне это обидно». Но ведь я не считаю! – горячо произнесла она. – Я, наоборот, знаешь, себя с ним чувствую... какой-то невзрослой. Это так странно!

– Чего тут странного? – пожала плечами Полина. – На фига нужен мужчина, если его оберегать надо? Да мне и вообще, – засмеялась она, – непонятно, зачем нужен мужчина, если он не Юра. Ладно, рыбка, – махнула она рукой, – о мужчинах рассуждать – дело дурное, они того не стоят. Как же у тебя так быстро вышло? – с интересом спросила она. – А говорила, полтора года, пятнадцать раз...

– Я сама удивилась, – кивнула Ева. – С третьего раза получилось, это действительно довольно быстро, хотя все равно казалось, что долго. Вот только теперь...

– А теперь-то что? – поморщилась Полина. – Чего ты теперь смурная такая, опять что-нибудь не слава Богу?

– Даже не знаю, – пожала плечами Ева. – Нет-нет, все слава Богу, – словно сама себе возразила она. – Просто... Понимаешь, при таком зачатии часто получается... Ну, в общем, получается не один ребенок.

– А сколько? – захохотала Полина. – Как у кошки, что ли? Ой, извини! – Она прикусила язык. – Ладно, рыбка, не обижайся. Так сколько вы там детишек понаделали?

– Возможно, даже... больше двух, – совсем уж смущенно ответила Ева.

И тут же Полина заметила, что это немного смешное смущение сменяется в глазах ее сестры совсем другим, непонятным и тревожным чувством.

– Ты что, рыбка? – испуганно спросила она. – С ними что-нибудь... не так?..

– Не знаю. – Ева смотрела почему-то на стенку, туда, где висел Полинин летний пейзаж, «лужайка под микроскопом». – Кажется, все так, насколько это можно определить сейчас. Но это... слишком много, я понимаю, – с какой-то пугающей отчетливостью выговорила она.

– И что? – растерянно спросила Полина.

– И надо что-то решать. Сейчас еще не поздно. Можно рискнуть всеми и попытаться оставить одного, – коротко выговорила Ева и, как-то кривовато улыбнувшись, добавила: – Проредить, так это называется.

Полина молчала, не зная, что сказать. Вообще-то она прекрасно понимала, что надо было бы сделать. И если бы речь шла о ней самой... То есть, конечно, не о ней – ей бы и в голову не пришло убивать столько нервов и сил на всю эту пробирочную возню, – а о любой другой женщине, то она согласилась бы с тем, что говорила сестра. Но, глядя на Еву, Полина понимала: та только вслух произносит все эти правильные короткие фразы, а в глазах у нее совсем другое...

Поэтому, незаметно вздохнув, она сочла за благо покривить душой. Да тут, кстати, и вспомнилось, как папа когда-то объяснил Юре, почему не хочет, чтобы Ева знала правду о том, что он не родной ее отец: «Она у нас такая девочка, что

ее душевное спокойствие дороже пустой правды».

Сто лет с тех пор прошло, а Ева у них все равно была «такая девочка», и ее душевное спокойствие было хрупким, трепетным и чрезвычайно уязвимым.

– Дело, конечно, хозяйское, – со всей возможной невозмутимостью пожала плечами Полина, – но, по-моему, ты, как обычно, многовато трагизма напускаешь. Да ты что, рыбка, – подмигнула она, – это же очень стильно! Купишь колясочку такую длинненькую, ленточек разноцветных понавертишь на одеяльца, сама красotka, муж молодой, детишки штабелями сложены и носами чмокают. Супер!

– Такой же супер, как я красotka. – Ева изо всех сил старалась казаться спокойной. – Ладно, дело не во мне.

– Дело, конечно, опять в Темке, – хмыкнула Полина. – Елки-палки, да сколько можно о нем переживать?! Он и правда взрослый уже, сам о себе подумает!

– Да как же он о себе подумает?! – Евино показное спокойствие исчезло мгновенно, как будто она стряхнула его с себя. – Как он о себе будет думать, когда ему на себя в этом случае вообще сил не останется? Ты же сама это понимаешь, Полина, ну зачем ты глупости говоришь! Чтобы меня успокоить? Как будто я не представляю, сколько памперсы стоят, сколько ползунки, сколько всякие баночки-скляночки! Он о фотоаппарате мечтает хорошо, я же знаю, хотя он мне не говорит, это и сейчас почти несбыточно, но сейчас все-таки... А если... Какой там фотоаппарат! Вместо фотоаппарата, вместо всего – длинная колясочка с ленточками, – с горечью произнесла она.

Полина поняла, что обмануть сестру ей не удалось. Да она и не очень надеялась, если честно. Евина необычность проявлялась еще и в том, что она видела жизнь насквозь, как рентгеном просвечивала; видела что-то такое, что было в жизни главным. Конечно, ее не провести было глупыми разговорами про стильные ленточки!

– Ева, поговори с Темкой, а? – отбросив задорный тон, просительно сказала Полина. – Его ведь дети, не от непорочного же, в самом деле, зачатия.

– Я и так знаю, что он скажет. – Евины светлые глаза полыхали таким пожаром, что казались темными. Полина никогда не видела ее такой и почувствовала, как от неожиданности и непонятности этого пожара у нее самой внутри начинается тревожная дрожь. – Что он взрослый и что он вполне в силах... Не надо мне было этого делать! – вдруг произнесла она таким совсем уж страшным тоном, что Полина поежилась. – Вот ты мне все время твердишь: думай о себе, думай о себе. Я подумала о себе – и что? Ах, хотела ребенка, ах, последний шанс! А для него этот мой последний шанс чем обернется?

«Чтобы я когда-нибудь... – мелькнуло в голове у Полины. – Любовь... Да пропади она пропадом, эта любовь!»

Она молчала, не зная, что сказать и надо ли что-нибудь говорить. Молчала и Ева.

Глава 5

Бабье лето в этом году выдалось такое позднее и долгое, что октябрь был похож на август.

«Вот тебе и любовь, – каждый день думала Полина, просыпаясь в соседней с Игорем комнате под крышей и глядя на голубой квадрат неба в окошке-люке. – Есть погода – есть любовь, не было б погоды – навряд ли и любовь была бы».

В обычную московскую осень, под проливными дождями, ей, конечно, не удалось бы осуществить «мозаичский план» – так она насмешливо именовала свое нынешнее занятие. А в такую погоду, как сейчас, под почти не греющим золотым солнцем, под не летним, но теплым ветром она проводила в саду час за часом и не замечала, как летят эти счастливые часы.

Это происходило с нею впервые после Махры, и за это она без малейших колебаний пожертвовала бы любым своим прежним занятием.

Но, к счастью, и жертвовать ничем не пришлось. Полина просто перебралась в Игорев дом на Соколе, даже не пытаясь скрыть от себя, что сделала это в основном ради мозаики. Было, правда, еще и не в основном, но об этом она

старалась не думать. Это было до идиотизма сентиментально, и думать об этом было совершенно ни к чему.

А думать о мозаике – это было очень даже к чему. Уже целый год, с тех пор как она бросила Строгановское, Полина не думала ни о чем, что рождалось у нее в душе и в голове, с таким трепетом и восторгом.

В каменном сарае, стоящем у повалившегося забора, она обнаружила оборудование целой мастерской. Когда Полина впервые разглядывала все эти кусачки, плоскогубцы, железные щетки и терки, большие и маленькие молотки, шпатели, кельмы, мастихины, вольфрамовые колеса и фаянсовые миски для растворов, ей казалось, что она попала в цех средневековых ремесленников.

Особенно молотки были хороши – их изогнутые головы заканчивались острыми клиньями, а рукоятки сами ложились в ладонь. Но и не только молотки – все было такое добротное, такое настоящее, что у Полины просто дух захватывало, когда она прикасалась ко всем этим восхитительным предметам.

А ведь были еще и бесчисленные керамические плитки, и разноцветные глазурованные плиточки, и куски мрамора, и крупные осколки гранитных глыб, и черно-серые пластины тусклого сланца, и самое прекрасное – радужные кусочки смальты. Смальта сияла, когда Полина выносила ее на улицу, и она даже специально выходила из сарая, держа кубики смальты на ладони и завороченно глядя на игру света и цвета в этих венецианских осколках. Были среди них и совсем драгоценные, золотые; они пожаром горели в лучах осеннего солнца.

Что смальта именно венецианская – точнее, сделанная по старинной, за сотни лет не претерпевшей никаких изменений венецианской технологии, – Полина узнала из книг о мозаике, которые, оказывается, во множестве имелись в обширной библиотеке Игоревых родителей. Правда, все книги были либо на итальянском, либо на английском языке. Но английский Полина худо-бедно вспомнила – ее память вообще легко и вовремя выталкивала на поверхность сознания все, что было необходимо. Для того чтобы разобраться в мозаичной технике, школьного английского оказалось достаточно, потому что книжки были щедро снабжены иллюстрациями. А итальянские слова о технике флорентийской мозаики она просто читала вслух, восхищаясь их гармоничностью и чувствуя, что так же гармонично то искусство, которое ими описывается.

Полина с каким-то плотоядным нетерпением поглядывала на каменный сарай, представляя, как он преобразится, когда она займется им вплотную. Ей казалось, что именно этого, как живая, хочет каждая стенка, каждая поверхность и неровность старого сарая.

«Скоро галлюцинировать начну, – усмехалась она, поймав себя на этих мыслях. – Миражи пойдут, феерии...»

Любитель феерий и миражей ни в чем ей не мешал. Полина вообще не совсем понимала, почему Игорь так уж хотел, чтобы она снова поселилась в его доме. Он явно не нуждался ни в ком для того, чтобы вести ту жизнь, которая его устраивала. Впрочем, ее это тоже вполне устраивало.

По утрам ни она, ни Игорь не завтракали. У него вообще нечасто просыпался аппетит, а Полине было не до еды. Едва открыв глаза, она уже думала только о том, застыл ли раствор, который она вчера нанесла на готовый мозаический фрагмент. Черт его знает, почему так взяло ее за душу это занятие!

Но вообще-то она догадывалась почему. Мозаика – это было ремесло, ремесло в чистом виде, живое, тяжелое. От него болели руки – все руки, от пальцев до плеч, – и в результате этого ремесла получалось что-то, что не могло бы получиться от произвольного и легкого движения карандаша или кисти. А главное, смысл этого ремесла – тот самый скрепляющий смысл, которого Полина давно не чувствовала во всех своих занятиях, – заключался в нем самом и не нуждался в пустых объяснениях.

Про обед она тоже, пожалуй, не вспоминала бы, если бы не просыпалась совесть.

«Надо же его все-таки кормить, – думала Полина. – Не будет же он одним милосердием Будды, или чем там, сыт».

И она шла в дом, ждала, пока на кухне разгорится и загудит старая газовая колонка, грела у ее огня застывшие в сарае ладони, потом торопливо резала помидоры, огурцы, лук, смешивала в большой фарфоровой миске – и ловила себя на том, что делает это теми же движениями, которыми только что перемешивала портландцемент и воду для мозаичного грунта. И смеялась потихоньку над миской с салатом, потому что ей было хорошо.

Видимо, благодаря возне с грунтом, опытным путем определяя, сколько надо воды, чтобы добиться нужной его густоты, Полина наконец сообразила, как наполнять кастрюлю, чтобы бульон имел мясной вкус, а не напоминал бы солоноватую воду. Мама не раз пыталась ей это объяснить, но Полина пропускала ее объяснения мимо ушей, потому что не считала тему существенной.

Правда, она и теперь ее таковой не считала, к тому же Игорь не ел мяса. Но варить бульон Полина все же научилась, как-то само собою, а о том, что фасоль, например, сварена в мясном бульоне, она Игорю просто не сообщала, ехидно полагая, что Будда не должен обращать внимания на такие мелочи жизни его поклонников.

Днем было тихо, но под ночным ветром к сетке-рабице, которую вызванные Полиной рабочие наконец натянули на месте сломанного забора, прилипли желтые и красные листья. Сетка была выкрашена в темный цвет, и поэтому казалось, что листья просто застыли в воздухе, как будто их держит неведомая сила.

Полина шмыгнула покрасневшим от холода носом и вышла наконец из сарая. Сегодня она очистила и отмыла от раствора мозаику, которую вчера выложила на небольшом круглом столике, найденном на чердаке. Она покрыла мозаикой весь этот столик, до последнего сантиметра, даже высокую круглую ножку, с которой пришлось возиться особенно долго, и это была первая ее работа, которая удалась по-настоящему. Все керамические кусочки – тессерае, так они назывались в итальянской книжке, – легли на свои места и пристали намертво, ни один не сполз вниз и не перекосялся, хотя очень трудно было этого добиться на полукруглых поверхностях.

Но особенно хороша была столешница. У Полины даже дыхание перехватывало, когда она смотрела на ее тускловатый, как махринская трава, узор.

На столешнице был изображен тот самый луг, который она пыталась изобразить на оргалите прошлым летом. Полина была уверена, что на оргалите у нее ничего не получилось – оказалось слишком похоже на обычную траву и обычные цветы, и не зря Дашка издевалась над «натурой натуратой». А теперь из этих загадочных кусочков зеленоватого мрамора, и оплавленного стекла, и случайно

разбитой синей чашки все получилось именно так, как она хотела тогда.

Беспричинное счастье того лета словно догнало ее, обернувшись мозаикой.

Несмотря на полудетное солнце, сумерки все-таки были октябрьские, ранние и густые. Дом почти не был виден за высокими деревьями сада, горело только одно окно в мансарде. Полина терпеть не могла темноты и тусклого света, особенно в большом доме, и всегда зажигала все люстры, торшеры и бра, как только переступала порог. А Игорю было все равно. Когда он медитировал, то мог вообще сидеть в темноте, а когда работал, ему хватало настольной лампы, включенной рядом с компьютером.

Сейчас он не работал, но и не медитировал, а просто читал, сидя посреди комнаты на небольшом тибетском ковре. Этот темно-синий шерстяной ковер был в самом деле тибетский, его привезли из Непала Игоревы родители, и Полине нравилось рассматривать загадочные рисунки, расположенные в его углах.

«Оле Нидал. «Каким все является на самом деле», – прищурившись, прочитала она на обложке книги, лежащей у Игоря на ладонях.

– Ну, и каким? – поинтересовалась Полина.

Можно было, правда, поздороваться, потому что утром они не виделись: Игорь еще спал, когда Полина, вопреки своему обыкновению поздно встала, уже улизнула в сарай. Но он вон даже глаз не поднимает, с чего же она должна его приветствовать?

– Ты о чем? – спросил Игорь, по-прежнему глядя в книгу.

– О том, каким все является, – улыбнулась Полина. – Вот именно все и вот именно на самом деле. Это на какой странице уже понятно, на двадцать седьмой? – Она подошла к Игорю и, остановившись у него за спиной, вслух прочитала: – «Если мы попытаемся нести с собой все эти верстовые столбы развития, то вскоре у нас будут руки как у гориллы, и мы слишком сильно нагрузим себя концепциями для того, чтобы достичь свободного от всех усилий состояния ума». Видишь, чего буддисты пишут? – хихикнула она. – Не грузись концепциями! А ты грузишься, вот и будешь как горилла. Нет, это я буду как горилла, – потягиваясь так, что захрустели косточки, проговорила она. – Руки так уж точно, от кусачек-

то. – И похвасталась: – Знаешь, как я уже плитку надкусывать научилась? С точностью до миллиметра!

Игорь на ее хвастливый тон никак не отреагировал, но Полина не обиделась. Она, как и прежде, не понимала того спокойного, рассеянного безразличия, с которым он относился к любой ее работе. Но теперь она знала, что точно так же он относится и к тому, что делает сам – кроме, конечно, буддистских икон, – и обижаться на него поэтому не стоит.

– Ты что, логотип закончил? – заметила она, взглянув на включенный монитор.

– А я не выключил разве? – Игорь оглянулся на письменный стол, на котором ярко светился компьютерный экран. – Да, закончил, завтра отдам.

Присев к столу, Полина подперла кулаками подбородок и вгляделась в композицию на мониторе. Нет, все-таки ей было непонятно, как можно оставаться совершенно равнодушным к только что завершенной работе! Тем более что результат этой работы показался ей необыкновенным.

Почти весь экран занимали прозрачные шахматы, расставленные на такой же прозрачной, изнутри светящейся холодноватым зеленым светом доске. Они стояли в беспорядке – точнее, в каком-то неизвестном Полине порядке начатой партии. Под шахматной доской был изображен горизонтально лежащий плоский компьютерный монитор, на котором чередовались картинки: бегущие люди, мелькающие улицы, города и страны. Вот Нотр-Дам сменяется Кельнским собором, потом Кремлем, потом небоскребами-близнецами нью-йоркского Центра международной торговли... Зрелище плоского человеческого мира, над которым, словно в небесах, разыгрывается шахматная партия с неведомым исходом, действовало настолько завораживающе, что Полина даже головой потрясла, прогоняя оцепенение.

– Хорошо как получилось... – восхищенно сказала она.

Игорева способность мыслить яркими, выразительными метафорами – это было то, что поражало ее в нем больше всего. Даже раздражение от его буддистских заморочек пропадало, когда она видела что-нибудь, подобное вот этой шахматной композиции.

– Молодец ты все-таки! А из чего натуральные шахматы будут? – спросила она. – Ты же говорил, тебе не только логотип, но и оформление зала заказали?

– Шахматы будут стеклянные, – ответил Игорь. – Довольно большие – пешки сантиметров по двадцать в высоту. Доска метр на метр, и монитор большой. Вообще им вся игрушка в копеечку влетит, но это, они предупредили, я учитывать не должен. Я и не учитывал.

Небесные шахматы так взбудоражили Полину, что захотелось поговорить с Игорем еще о чем-нибудь. Например, о том, как она протирала сегодня мозаичную столешницу, и от серого налета освобождался, становился все яснее и прекраснее тот самый узор, которого она добивалась, и сердце у нее билось так быстро, что даже горло вздрагивало...

Но Игорь молчал, и она не стала ничего рассказывать.

«Вообще-то правильно, – подумала Полина. – Как есть, все равно не скажешь, и зачем зря воздух сотрясать?»

– Ты ел? – спросила она.

– Так ведь нечего, – пожал плечами Игорь.

– Как это нечего? – возмутилась Полина. – А суп?

– Разве есть суп? – удивился он.

– А в кастрюле что, по-твоему? – поинтересовалась она.

– Я в кастрюлю не заглядывал. Да и все равно суп разогревать надо... Я помидор съел, – вспомнил он.

«Ладно! – весело подумала Полина. – Что плохого? Суп в кастрюле не заметит, зато помидором сыт. Ха-арошенький буддист!»

Теперь, когда она целыми днями была занята своей мозаикой и, главное, этим была занята вся ее душа, Игорева неприятельность и незлобивость вызывали

у нее почти умиление. Она уже с трудом вспоминала, чем же он ее так раздражал-то, отчего она сбежала из его дома. Если вдуматься, жизнь с ним являла собою одно сплошное удобство – от прекрасно оборудованной мастерской в старом саду до отсутствия чрезмерных мужских требований.

Впрочем, про отсутствие требований Полина, кажется, вспомнила преждевременно.

Игорь вдруг повернулся на своем ковре и, не вставая, обнял ее колени. Он молчал, но он и всегда молчал в те минуты, которые предшествовали сексу, и лицо почти не меняло своего выражения. И все-таки Полина чувствовала его желание – как-то застывали все черты его лица, и казалось даже, что стягивается кожа на его бритой голове.

И это желание, объектом которого была она, действовало на нее почти так же завораживающе, как небесные шахматы на светящемся в темноте экране.

Это и привязывало ее к Игорю сильнее, чем все то, что она могла бы высказать и, смеясь, легко высказывала словами.

Игорь оказался первым мужчиной, которого она привлекала как женщина. И хотя они встретились, когда Полине было уже девятнадцать лет, она была потрясена этим его влечением, которое почувствовала сразу, в первый же вечер, в Махре, и которого по отношению к себе совсем не ожидала.

Не то чтобы она считала себя некрасивой или, упаси Бог, ущербной; никаких таких комплексов у нее и помину не было. Но вот эта тяга... Полина никогда и ни в ком ее не чувствовала и даже как-то не задумывалась, почему это так. Ну, значит, она хороша другими своими – разумеется, многочисленными! – качествами, а не тем, что называется идиотским словом «сексапильность». И правда, смешно ведь считать сексапильными узенькие плечи, какие-то невнятные холмики вместо груди, ключицы как у подростка...

О том, что принято называть женской привлекательностью, она первый и последний раз слышала по отношению к себе десять лет назад и тогда, конечно, не очень поняла, но потом вспомнила с каким-то горьким недоумением.

Это было во время вечерней пьянки, которую потихоньку устроили в художественной школе бывшие выпускники, задержавшиеся после традиционной ежегодной встречи. Полинка училась тогда в пятом классе, но, наверное, атмосфера того вечера была такая доверительная, что взрослые разомлели и не обратили внимания на нескольких мелких девчонок, просочившихся в просторный класс, где все так славно выпивали.

Полина сидела на столе, куда обычно выставляли предметы для натюрморта, болтала ногами и только успевала головой вертеть, прислушиваясь к каждому слову взрослых, да не просто взрослых – настоящих художников! Они разговаривали о неизвестных ей Фаворском и Флоренском, и она пыталась сообразить, это два разных человека или один и тот же, но просто она не может толком расслышать его фамилию.

– Глянь-ка на рыженькую, – вдруг услышала она у себя за спиной мужской голос. – Не девочка, а огонек!

Она хотела обернуться, чтобы увидеть, кто это обратил на нее внимание, но почему-то постеснялась. А точнее, захотела услышать о себе еще что-нибудь такое же приятное, как это неожиданное сравнение.

– Да, ничего себе, манкая, – ответил второй голос – низкий, красивый, с ленивыми интонациями. – Кому-то давалка растет.

– Да не одному! – пьяновато хмыкнул первый. – Рыжие – бледовитые. И правильно. На что они еще годны?

– Рыжие-то? – переспросил второй.

– Да нет, все бабы. Ладно, Коля, разливай по последней, и по домам двинем.

Полина тихонько слезла со стола и, так и не оглянувшись на говоривших, вышмыгнула из класса. Было немного грустно и немного противно. Почему, она тогда не поняла, но разговор этот запомнила и уже лет пять спустя убедилась в абсолютной точности того, что было в нем с пьяной прямоотой высказано.

Все мужчины, которых она встречала в бесчисленных компаниях – талантливые и бездарные, молчаливые и болтливые, умные и глупые, – воспринимали женщин вообще, и ее в частности, именно таким образом, который был очерчен теми давними словами.

Женщина должна была давать по первому требованию – это как минимум. Еще – должна была сидеть, подперев кулачком подбородок, и с восторгом выслушивать жалобы на невежество толпы или другие великие мысли, которые ей излагает высшее существо – мужчина. Ну, и как венец отношений – должна была стирать ему носки и готовить обед. За все это она могла рассчитывать не только на обузу в виде детей, но и на приятность в виде секса. Правда, все Полинины подружки, которые попробовали эту приятность не с ровесниками, а с мужчинами лет сорока, уверяли, что с этой возрастной категорией секс получается чисто символический.

– И удивляться тут нечему, – философски замечала Глюк, в бурной биографии которой имелся среди прочих как раз сорокалетний спонсор. – Прикинь, со сколько они по полной квасят. Так на сколько же их, по-твоему, трахаться хватит? Ну, десять лет, ну, крайняк, пятнадцать, вот тебе и инвалид сексуального фронта.

Примерно к шестнадцати годам Полина с ее быстрым умом, наблюдательностью и насмешливостью окончательно уверилась в том, что отношения с мужчинами – это самое скучное, что есть в жизни. Поэтому то, что она не является для них предметом вожделения, совсем ее не угнетало. Еще бы не хватало! Мучиться не из-за того, что не знаешь, как и, главное, зачем тебе заниматься живописью, не из-за того, что графическая линия идет почти вровень с твоей быстрой мыслью и потому получается слишком бойкой, поверхностно-красивой, – а из-за того, что какой-нибудь Петя или Вася не обращает на тебя внимания завтра после совместно проведенной ночи? Да не родился и не родится тот Петя или Вася, вниманием которого она дорожила бы больше, чем всей загадочной, глубокой жизнью, которую чувствовала в сложном, странном, полном цвета и света мире!

Нельзя сказать, что секса ей совсем не предлагали. Лешик Оганезов – тот даже теорию свою имел на этот счет. То есть не свою, а, как он с важным видом уверял, историческую.

– Вот я считаю, – излагал он однажды во время занятий в натурном классе, когда Полина еще не бросила Строгановское, – большевицкие женщины были

абсолютно правы.

- Это насчет мировой революции? - усмехнулась она.

- Насчет сексуальной, - объяснил Лешик. - Была такая теория стакана воды, очень, я считаю, прогрессивная. В смысле, что потрахаться - это как стакан воды выпить. Вот ты же не откажешься товарищу стакан воды подать, правильно? Тогда какого хера в сексе отказываться?

- А у товарища, между прочим, руки не из попы растут, - отбрила Полина. - Пусть сам пойдет и воды себе нальет. Из крана. Чего это я должна ему подавать?

- Никакого у тебя, Полинка, образного мышления! - хмыкал Лешик.

Вообще-то он был совсем даже неплохой парень, и секс с ним у Полины однажды случился. Не в точности согласно теории стакана воды, но и не совсем спонтанно: ей просто неловко было оставаться последней девственницей в их бурной компании, и надо же было с кем-то попробовать, так почему бы и не с Лешиком? Он, по крайней мере, являлся сторонником также и теории безопасного секса и поэтому не пренебрегал презервативами, в отличие от других парней, которые охотно повторяли глупость про обнюхиванье цветка в противогазе, а потом не могли найти денег подружке на аборт.

Роман с Лешиком продолжался целый месяц; Полине было тогда восемнадцать лет. Закончился он так же легко, как начался. Они поехали вдвоем на дачу в Кратово праздновать Старый Новый год, и Полина промерзла до костей, пока Лешик пытался растопить печку. В конце концов она плюнула и, вспомнив, как делал это папа, растопила печку сама, но бронхит все же подхватить успела, а за время болезни их с Лешиком половое влечение как-то незаметно угасло.

Юра потом до слез смеялся, когда она рассказала ему эту историю, опустив на всякий случай сексуальную составляющую.

- Надо лучше выбирать свои знакомства, мадемуазель Полин, - заметил он. - Мужчина должен уметь растопить печку быстрее, чем его подружка замерзнет. Или, по крайней мере, догадаться согреть ее другим способом.

Но догадливых мужчин, которые к тому же умели бы растапливать печки, на ее пути что-то не встречалось. Да она и не искала, если честно.

Игорь тоже не был догадлив, и никакие печки его не интересовали, но в нем было другое...

И это «другое» – направленное на нее желание – сейчас обволакивало Полину, затягивало в незримые, но очень крепкие сети.

Она попыталась высвободиться из его объятий, но это ей не удалось. Наоборот, колени у нее подогнулись, и она села рядом с Игорем на тибетский ковер.

– Ну чего ты вдруг? – Полина уперлась руками ему в грудь. – Что так срочно?

Он опять не ответил, наклонился вперед. Она поддалась и этому его движению – легла на ковер, чувствуя, как Игорь накрывает ее сверху, как коротко дышит ей в ухо и в щеку. Дыхание у него было чистое и чуть терпкое, как зеленый чай. Да он ведь и пил все время чай – травяной, тибетский. И губы у него были сухие, мягкие, и целоваться с ним было приятно.

Он всегда раздевался перед близостью догола и раздевал ее. Даже в первый раз, в темном махринском домике, когда плясали по стенам тени от керосиновой лампы и смотрела с холста Зеленая Тара. Это нужно было, он объяснил, потому что в одежде, как и в волосах, накапливается карма, от которой перед соитием лучше избавляться. И это обнажение, пусть даже причина для него казалась смешной, было приятно. В нем было что-то чисто плотное, в самом прямом смысле этого двойного слова: чистая плоть.

На этот раз Полина разделась сама, пока, привстав, Игорь стягивал с себя шелковую рубашку и свободные кашемировые шаровары, в которых ходил дома. И когда он снова лег на нее, положил ладони ей на грудь, их уже ничего не разделяло.

Полине почему-то всегда казалось в такие минуты, что Игорь длинный. Или узкий, что ли. То есть у него действительно были узкие плечи, как и у нее самой, но вот это ощущение чего-то длинного, гибкого, гладкого, вытянутого по всему ее телу и во все ее тело проникающего, – это ощущение не было связано только с физической формой.

И ей все время хотелось провести по нему руками – обеими руками, как будто потянуться до хруста в костях после сна. Она и проводила – сначала по плечам, потом по гладкой, без волос, груди, потом по бокам, потом по бедрам... Игорь молчал, только дыхание становилось чаще и тело еще больше натягивалось, как будто принимало в себя что-то.

– Еще, Полина, еще, – вдруг проговорил он, и она даже замерла от неожиданности: кажется, это были первые слова, которые он произнес во время близости, за все их общее время первые. – У тебя очень сильная энергия от рук идет, еще...

Ей на секунду стало смешно – опять он про энергию! – но в его голосе было что-то возбуждающее, гораздо более возбуждающее, чем в гладком теле, и она согнула колени, заставив его упереться локтями в ковер и чуть приподняться над нею, и провела по его животу обеими ладонями, опуская их все ниже...

Он с готовностью изгибался, позволяя ей гладить его живот, раздвигал ноги, пуская ее ладони всюду, куда она хотела, прислонялся при этом грудью к ее груди, и она ощущала даже прикосновение его сосков к своим – очень чувственное прикосновение.

«Может, и правда – энергия?» – мельком подумала она, когда это прикосновение стало острым, как покалывание иголочек.

Но вообще-то Полина ни о чем не размышляла во время близости с ним – ни в первый раз, в Махре, ни теперь, когда спину ее щекотал мягкий ковер. Ей было легко, хорошо, она была так спокойна, что не хотелось даже дальнейшего – когда Игорь наконец уклонился от ее рук и медленно, с каким-то растянутым выдохом, вдвинул себя между ее ног, и все его тело пошло волной, как будто из него вынули кости. Точно такой же, как его тело – словно бы бескостной, но от этого не страшной и не противной, а невыразимо привлекательной, – показалась Полине обнаженная длинная рука балерины, когда она впервые увидела «Лебединое озеро».

Про то, чем все это должно заканчиваться – про бурный взрыв наслаждения, – она только читала. Или слышала от подружек, почти наверняка зная, что они врут. Впрочем, и книги наверняка ввали про все эти бурные взрывы. Полина ничего такого ни разу не чувствовала, но несколько об этом не жалела. Она

точно знала, что с Игорем достигает того максимума, который возможен в близости с мужчиной, – медленного, чистого, долгого максимума удовольствия.

Конечно, у него это было иначе: действительно наступал хотя и не взрыв, но отчетливый финал, и он вздрагивал, и коротко, быстро дергался у нее внутри, а потом замирал, а потом высвобождался из ее тела и ложился рядом, отдыхая. Но ведь у него и должно было все быть по-другому, в этом не было ничего удивительного.

Все происходило быстро, легко, он вообще был легкий, тонкий в кости, и Полине нравилась вот эта мимолетность – или небрежность? – нет, не небрежность, а все-таки именно мимолетность, неуловимость, с которой все происходило.

Игорь лежал на углу ковра, странный и причудливый тибетский символ окружал его голову. Полине вдруг стало грустно оттого, что он молчит. Хотя с чего бы ей было грустить? Разве лучше было бы, если бы он, как Лешик, болтал и до, и сразу после, и чуть ли даже не во время секса? И что ей так уж сильно хотелось услышать, чего она не знала такого, что мог бы сказать ей Игорь? Историю из жизни Кармапы или что-нибудь про русскую сангху?

Полина перевернулась на живот и, положив голову на руки, снизу взглянула на Игоря. Глаза его были закрыты, красивое, с тонкими изгибами скул и губ лицо было полно глубокого покоя.

– С тобой хорошо, – не открывая глаз, вдруг сказал он, словно почувствовав ее взгляд. Да, он же и всегда чувствовал ее как-то необычно, Полину это ведь и поразило в нем сразу, когда они сидели, прислонившись спинами к гудящей изнутри махринской сосне. – Ты знаешь, пять минут с тобой дают возможность достичь того, чего даже медитацией не всегда достигнешь.

– Ишь ты! – хмыкнула она. – Изысканные у тебя комплименты. И чего же ты сейчас достиг, интересно?

– Я был бессмысленно взбудоражен. – Он открыл глаза и взглянул на нее тем своим взглядом, для которого она не знала названия и который то раздражал ее, то восхищал. – Видимо, из-за работы, которую я не хотел, но должен был сделать. И мне нужно было вернуться к себе прежнему, но это не получалось. Пока ты не пришла.

«Черт его знает, что он за человек такой! – подумала Полина. – И ведь не притворяется...»

– Я завтра сараем хочу заняться, – сказала она. – Весь его мозаикой снаружи выложить. Знаешь, оказывается, для этого даже название есть – пикасьетт. Был такой французский слесарь, лет пятьдесят назад, что ли, вот он весь свой дом мозаикой покрыл, а делал ее из всякого мусора, по-французски – из пикасьетт. – Полина сама не знала, для чего рассказывает эту историю, которую прочитала в английской книжке. Вряд ли это могло бы увлечь Игоря, не похоже было даже, чтобы он вообще прислушивался. – Над ним тогда все соседи смеялись... С тех пор техника так и называется. Можно я Зеленую Тару возьму? – вкрадчиво поинтересовалась она.

И тут же прикусила язык: пожалуй, после объяснений про мусор эта просьба выглядела довольно двусмысленно. Впрочем, Игорь не вникал в нюансы.

– Танку? Нет, – ответил он.

Ничего другого Полина, правда, и не ожидала. Еще чего, танку! С таким же – даже, пожалуй, с гораздо большим – успехом можно было попросить его отдать голову.

«Начну пока без Зеленой Тары, а там видно будет», – решила она.

Танка была ей совершенно необходима для воплощения того замысла, который вспыхнул в ней, когда она нашла в сарае кусачки, и молотки, и смальту, когда читала певучие итальянские слова и смотрела на игру света в золотых венецианских осколках. Она хотела повторить – нет, не повторить, а... Наверное, прояснить, остановить и оживить все, что происходило с нею тем махринским летом. У нее даже в груди что-то звенело, когда она думала об этом. И она чувствовала, что мозаика позволяет это сделать, потому что в ней каким-то непонятным образом, вопреки очевидности, не застывает, а проясняется таинственное движение жизни.

Когда-то беленые, а теперь облезлые, но отлично оштукатуренные стены каменного сарая позволяли изобразить на них все, что угодно. Например, то, что Полина так неожиданно почувствовала под первым Игоревым взглядом: что она

готова идти с ним ночью в лес даже в полной уверенности, что заблудится в трех соснах. Это прошло довольно скоро, но ведь это было, пусть совсем недолго, и ничего прекраснее в их отношениях, в общем-то, не было...

Да и мало ли чем было наполнено то лето! Полина и сама не понимала, почему каждый его бесконечный, пронизанный счастливой ленью день впечатался в ее память так отчетливо и ясно, почему она помнит даже случайные встречи этого лета. Как ту, например, когда она рисовала на лугу, а проходивший мимо парень сказал ей какую-то веселую ерунду. Будто бы белые цветы называются чингисханчики, а сиреневые – мышинные кармашки...

Впрочем, про случайного этого встречного Полина думала с неохотой, хотя он, конечно, совсем не был в этом виноват, да он и вообще был ей никто, и думать про него было бы незачем, если бы... Если бы спустя полгода после Махры он не оказался хозяином бабушкиной гарсоньерки.

– Одевайся, пошли суп есть, – сказала она, ткнув Игоря пальцем в бок. – Или голый иди, если не замерз. Для пользы кармы или чакры твоей этой, как ее... Сахасрары!

Глава 6

«И чего я, дура, так поздно к нему вернулась? – думала Полина, перепрыгивая через подернутую ледком лужу под аркой родительского дома. – Теперь, конечно, дожди пошли, ноябрь же, скоро вообще снег ляжет! И так с погодой повезло, в октябре-то. Надо было летом возвращаться, хоть одну стену успела бы сделать. Ну ладно, весной продолжу».

Настроение у нее было под стать погоде позднего ноября. С утра почему-то болела голова, перед глазами до тошноты мелькали серые пятна.

«За компьютером надо было меньше сидеть, – решила она. – А с другой стороны, что еще сейчас делать? Хоть денег пока заработаю».

Как только погода испортилась настолько, что выкладывать мозаику на внешних стенах каменного сарая стало невозможно, Полина со вздохом взялась за работу, которая являлась для нее источником материального существования. Как она понимала Игоря, медитировавшего после окончания точно такой же, денежной, но для него совершенно неинтересной работы! Правда, Игорева дизайнерская деятельность за один присест давала ему средства как минимум на полгода безбедной жизни, а Полинины скудные халтурки требовали постоянного к ним обращения. Но она на судьбу по этому поводу не роптала – наоборот, радовалась, что эти халтурки вообще у нее есть.

Халтурками она называла иллюстрации к детским ужасикам, которые делала для одного небольшого, но довольно успешного издательства. Если бы не Игорь, точнее, не его компьютер, ничего подобного Полина делать не могла бы. Что и говорить, жить с ним было удобно во всех отношениях.

Компьютер у Игоря был такой, какой мало у кого имелся в Москве: самоновейший «Макинтош», на котором можно было вытворять чудеса. Это был родительский подарок, к тому же подарок постоянно обновляющийся. С каждой оказией Латынины присылали из Америки очередные прибамбасы, позволявшие их сыну без особых усилий находиться в авангарде компьютерного дизайна, во всяком случае, московского. К тому же Игорь закончил какие-то очень продвинутые курсы, когда год жил у родителей в Хьюстоне, к тому же обладал необычным, так восхищавшим Полину образным мышлением... В общем, о куске хлеба с маслом ему не приходилось волноваться по вполне понятным причинам. А Полина не волновалась об этом потому, что вообще не привыкла волноваться из-за такой мелочи, как наличие или отсутствие денег.

За первую неделю она наштамповала на навороченном «Макинтоше» с десятков монстриков и монстров, благо на отсутствие фантазии не жаловалась, и теперь собиралась все-таки снова заняться мозаикой, если не на улице, то хотя бы внутри сарая.

«Можно что-то вроде панно пока сделать, – рассуждала она, открывая дверь в подъезд. – А весной потом к стенкам их присобачить. Жалко же бросать, в пальцах аж свербит же!»

Правда, работать зимой в неотапливаемом сарае наверняка было бы трудновато, но это Полину не останавливало. Свет-то там есть, значит, можно включать обогреватель. Да и вообще, здоровье у нее было крепкое, и простуд она боялась

еще меньше, чем отсутствия денег.

«Чего ж во рту-то так гадко? – подумала Полина, снова почувствовав на зубах что-то вроде горькой оскомины, и тут же сообразила: – Да просто у родителей давно не была, не ела по-человечески!»

Но ее надежды на вкусную и здоровую пищу развеялись, как только она переступила порог квартиры. В доме стоял какой-то растерянный кавардак, так ей сразу показалось. Папин голос доносился из гостиной – Валентин Юрьевич разговаривал по телефону, но не обычным своим, всегда спокойным тоном, а как-то встревоженно и громко. Но самое поразительное было не это... Увидев маму, быстро вышедшую ей навстречу из спальни, Полина просто остолбенела.

Никогда в жизни она не видела маму в слезах! Не зря бабушка Миля говорила когда-то, что женщин с таким сильным характером, как у ее невестки, на свете очень мало. Мама принимала удары судьбы так, как другие принимают мелкие неприятности. Полина забыть не могла, как спокойно она отреагировала на то, что ее безалаберная младшая дочь бросила Строгановское, да еще по такой для всякого нормального человека неубедительной причине, как «не знаю, зачем я этим пустым картинкам учусь, а раз не знаю, то нечего и учиться». Конечно, мама тогда возмущалась, ругала ее, даже хотела пойти в институт и лично поговорить с ректором, но ни ужаса, ни отчаяния, ни слез Полина у нее не заметила. Она тогда еще подумала: в маме есть что-то такое, что позволяет ей безошибочно определять повод для отчаяния и слез...

И вот теперь слезы текли по Надиному лицу ручьями, и она даже не пыталась их скрыть.

– Что, мам? – испуганно спросила Полина. – С кем?!

Ясно же было, что мама не станет плакать из-за чего-то, что случилось лично с нею!

– С Евой, Полиночка, с Евой! – Надя всхлипнула и все-таки вытерла щеки ладонями. – В больницу увезли, только что Артем позвонил... На улице сознание потеряла, «Скорая» увезла, и не туда, конечно, где она на сохранении лежала, и ничего толком не говорят, ничего! Деточка бедная, как же она хотела, как же... А теперь что? С самой бы все обошлось, и за то Бога надо благодарить, а уж

беременность...

Мама махнула рукой.

– А Юра где? – растерянно спросила Полина.

Таким странным, таким невозможным казалось, что в эту минуту рядом нет Юры! Она была уверена: если бы он был сейчас здесь, дома, все было бы совсем иначе. Хотя что он мог бы сделать, да еще здесь, дома?

– Вот же, папа с ним и разговаривает. – Надя кивнула на прикрытую дверь гостиной. – Мы хотели сразу ехать, это в Лефортове и случилось, но Юрочка говорит, что он сначала сам, чтобы мы дома ждали. У него как раз операция закончилась, говорит, сейчас же выезжает, только далеко ведь ему от Склифа, пока доберется, но и от нас ведь далеко... А Тема там уже, – добавила она.

С того дня, когда Ева сообщила родителям о своей беременности, мамино отношение к Артему переменилось как по мановению волшебной палочки. Наверное, это тоже определялось невидимым, но очень чутким и точным барометром, который был у Нади внутри и безошибочно показывал, что в жизни главное, а что не главное.

– Ты-то почему бледная такая? – все-таки заметила она. – Представляю, что вы там едите!

– Ой, мам, сейчас не до меня, – отмахнулась Полина. – Знаешь что? – решительно заявила она. – Вы и правда дома пока побудьте, а я быстренько в Лефортово схожу. Ну чего мы всей толпой туда притащимся? – добавила она, заметив мамин протестующий жест. – Сидеть пень пнем я все равно не могу, а вам мы с Юркой оттуда позвоним. Может, лекарство какое-нибудь надо будет привезти, или не знаю, что там... Клюквенный морс. В общем, ждите. Сказал Темка, где эта больница?

В больнице Полина не только ни разу в жизни не лежала, но даже ни разу и не была. Как-то не приходилось ей бывать в больнице: никто из ее друзей туда не попадал, во всяком случае, надолго, родные тоже были здоровы... Даже папа не

ложился для протезирования в больницу, а просто ездил к своему мастеру, обходясь при этом без сопровождения.

Наверное, поэтому она боялась больниц так, как боятся маленькие дети. Это было, пожалуй, единственное, чего Полина в жизни вообще боялась. В этом было стыдно признаваться, она и не признавалась, но представить не могла, как Юра может работать врачом. Каждый день, и день и ночь, ходить по этим унылым, наводящим на самые мрачные мысли коридорам, постоянно видеть эти стены, выкрашенные какого-то безнадежного цвета краской... Да и не просто ведь ходить, и не просто видеть, а работать в этих стенах, да еще травматологом, – и каждый день боль, кровь, даже смерть, и день и ночь... При одной мысли обо всем этом Полина вздрагивала.

В больницу к Еве ее, правда, не пустили. То есть пустили, конечно, но не дальше регистратуры.

– Потому что она в реанимации, а туда, как вы понимаете, нельзя, – объяснила бесстрастная девушка в окошке. – Состояние средней тяжести.

– Почему же в реанимации, раз средней? – спросила Полина.

– Чтобы не стало тяжелым, – отрезала регистраторша.

Не дожидаясь, пока ей скажут, чтобы не мешала работать, Полина отошла от окошка и присела на обтянутое дерматином кресло в углу холодного вестибюля.

«Где же Темка, интересно, раз не пускают? – подумала она. – И где, главное, Юра?»

Ей было тоскливо, одиноко и хотелось плакать, как в детстве, хотя она и в детстве почти не плакала. В человеческом мире, который ее окружал, не было ничего даже отдаленно подобного тому, чем была ее семья – родители, Ева, Юра... Все они вместе были тем единственным, из-за чего, по Полиному мнению, этот бестолковый человеческий мир вообще имел право на существование. И представить, что им что-то угрожает – Еве угрожает так сильно, что она лежит в реанимации и к ней никого не пускают, – представить это было просто невозможно.

Так страшно Полине было только однажды, когда Юра уезжал в Чечню. Когда они сидели в последний вечер вдвоем и он просил ее продать гарсоньерку и объяснял, что надо вернуть Темкин долг, чтобы успокоить Еву, и Полина вдруг поняла, о чем он думает: о том, что может ведь и не вернуться, и поэтому смешно дорожить квартирой...

И как только она об этом вспомнила, сразу увидела Юру.

Наверное, папа сказал ему, что Полина поехала в Лефортово: Юра стоял у двери, ведущей куда-то в недра больницы, и оглядывал вестибюль. Он был в белом халате – то ли здесь дали, то ли прямо в нем и приехал из Склифа, – и во всем его облике, даже почему-то в этом белом халате, в котором она никогда ведь не видела брата, было что-то такое бесконечно родное и надежное, что Полина и в самом деле чуть не заплакала.

– Юр, я здесь! – закричала она, вскакивая.

– Ну что ты вопишь, мадемуазель Полин? – Он улыбнулся и помахал ей рукой. – Иди сюда, не пугай людей.

Когда Юра улыбался, лицо его совершенно менялось – наверное, из-за того, что менялся цвет глаз. Они у Юрки были такие, что, как говорила мама, любая девчонка могла бы обзавидоваться. Темно-синие, чистый кобальт, вот какие! Полина почти не помнила, но знала по маминым же рассказам, что такие глаза были у бабушки Эмилии. Что они точно так же казались темными и так же мгновенно менялись – вспыхивали синим, – когда она улыбалась.

И в этом смысле тоже не было на свете другого такого человека, как Юра: чтобы глаза меняли цвет в зависимости от того, что происходит в душе.

– Юр, ну как она? – нетерпеливо спросила Полина, вглядываясь в эти глубокие синие искры. – Я так испугалась, ты себе не представляешь!

– Почему не представляю? – Он положил руку ей на плечо и успокаивающе сжал пальцы. – Но все, в общем-то, лучше, чем могло быть, ты не волнуйся.

– К ней нельзя, да? Она без сознания, да?

Они уже поднимались по лестнице на второй этаж, и, натягивая халат, который Юра ей вынес, Полина прыгала рядом с братом, стараясь обежать его так, чтобы заглянуть в лицо.

– В сознании, – отвечал он на ходу. – Она в сознании, к ней можно, и прекрати, пожалуйста, панику, а то ты на пьяную белку похожа.

– Где это ты, интересно, видел пьяную белку?

Полина невольно улыбнулась и даже чуть не засмеялась. Знает же Юрка, кого и как надо приводить в чувство! В медицинском институте этому учат, что ли?

Коридор был длинный и тусклый, остро пахло лекарствами и тяжело, кисло – чем-то еще, чего не хотелось даже представлять, возле стен стояли облезлые каталки и гинекологические кресла, которые казались Полине жуткими, как орудия пыток, и она поэтому старалась на них не смотреть, сердито думая: «Надо же в двадцать лет быть такой дурой!»

Ей хотелось взять Юру за руку, но это был бы уж полный идиотизм.

Возле последней двери он остановился и, бросив на сестру быстрый взгляд, сказал:

– Успокойся, отдышись. Она и так возбуждена больше, чем надо, а успокоительное ей сейчас лучше не колоть. Так что ты должна сработать как транквилизатор.

– Ты не сердись, Юр, – извиняющимся тоном пробормотала Полина. – Я сейчас успокоюсь. Просто жутковато тут как-то...

– Разве? – удивился Юра. – А я и не заметил. Больница как больница, не Кремлевская, конечно, но ничего особенного.

Только войдя в палату, Полина догадалась, что это, конечно, не реанимация; значит, оттуда Еву все-таки уже перевели. Палата была большая и какая-то пустынная. Краем глаза Полина успела заметить, что, кроме Евиной, занята только угловая кровать, одна из четырех; толстая, как гора, женщина лежала на

ней лицом к стене.

А Ева лежала так, что ее было видно сразу от двери. Ее невозможно было не увидеть сразу, даже в полумраке палаты, освещенной только маленькой лампой, стоящей на тумбочке.

Она была вся какая-то... светящаяся, так, наверное. Полина никогда не видела, чтобы человек светился, как на картине Рембрандта, и теперь с трудом верила собственным глазам. Ева светилась вся, от лежащих на одеяле рук до разметавшихся по подушке русских волос, но свет этот был не счастливый и не спокойный, а тревожный, почти страшный.

Артем сидел на стуле у кровати и держал Еву за руку, ко второй ее руке тянулась трубочка от капельницы. Он обернулся на скрип двери, и Полина увидела его лицо так отчетливо, как будто и он был освещен этим странным и страшным, от Евы исходящим светом.

– Все приехали. – Ева улыбнулась. Голос у нее был слабый, но все-таки это был ее живой голос и ее улыбка. – Сейчас еще мама с папой придут... Как будто я умираю.

– Мама с папой не придут, рыбка. – Полина с удивлением расслышала в собственном голосе насмешливые интонации, хотя меньше всего ей сейчас хотелось смеяться. – Ты же не умираешь, с чего бы мы всем семейством сюда приперлись? Ладно Юрка, блат составить, а родителям-то зачем? Они тебе клюквенный морс варят. Или ты мне не рада?

– Ну что ты, Полиночка, конечно, рада. Но вообще-то я прекрасно себя чувствую, вот, прошу, чтобы Тема ушел, а он...

Полина быстро взглянула на Артема, опасаясь увидеть в его глазах то, что чувствовала в себе: не утихающую от Евиных слов, леденящую тревогу. Но глаза у него были обычные – такие, какими она, хотя особо и не приглядывалась, но все-таки видела их и раньше: внимательные, широко поставленные. Он смотрел на Еву пристально, неотрывно, но он и всегда так на нее смотрел; между ними словно нить была натянута.

– Тема, может быть, ты все-таки пойдешь? – полувопросительно сказала Ева. – Ты с утра уже здесь, я знаю, не уходил ведь, да? А я пока с Полинкой поболтаю, я же ее сто лет не видела, – добавила она.

– Правильно, пойдём, – кивнул Артему и Юра. – Я там чай заварил в ординаторской, у дежурного врача бутерброды нашлись. Пойдем перекусим.

Полина улыбнулась. Юра всегда заваривал чай сам, никому не доверяя это важное мероприятие, и чай у него получался такой, что мама называла его «уголовным чифирем» и не понимала, как Юрочка может это пить.

– Да я не голодный, – пожал плечами Артем. – Ева, я...

– А Ева пока поспит, – перебил его Юра. – Ты ее тоже сильно-то не убалтывай, – велел он Полине. – Посиди, пока капельница не закончится, а больше незачем. Паникеры вы все-таки, – добавил он уже в дверях, пропуская перед собою Артема.

Как только за ними закрылась дверь, Полина села на стул, на котором только что сидел Артем. Она тоже хотела взять сестру за руку, но постеснялась этого сентиментального жеста. Впрочем, Ева сама взяла ее за руку – даже не взяла, а схватила, крепко сжала пальцы, и Полина почувствовала, какие они у нее горячие и неожиданно сильные.

– У тебя температура, что ли, рыбка? – спросила она, уже с трудом скрывая свой страх.

– Не знаю. Неважно, – коротко ответила Ева. – Полиночка, пока их нет... Я же понимаю, все не так хорошо, как Юра старается показать, он же врач, ему притвориться нетрудно, а я должна... Я хочу, чтобы ты мне пообещала, – твердо сказала она, глядя на Полину темными, так странно в этом исходящем от нее свете темными, глазами.

– Палец уже резать? – сердито спросила Полина, сдерживая дрожь. – Или сойдет шариковой ручкой расписаться? Ты, рыбка, как Мефистофель, ей-богу!

Но Ева не обратила внимания на ее тон и не успокоилась.

– По-моему, выкидыш они остановили, – торопливо сказала она. – Во всяком случае, пока. Но все равно что-то не так, я еще в реанимации слышала, как врачи переговаривались, они думали, что я еще без сознания, а я уже в сознании была, только глаза еще не открывались, и Юра поэтому здесь, не уходит, потому что все не так... Может быть, это из-за того, что я такая старая уже? Но, в общем, это неважно, из-за чего, я потом спрошу, а сейчас неважно... Если что-то случится... Полина, прошу тебя, пообещай мне, что ты его не оставишь.

– Кого? – уже не скрывая испуг, спросила Полина.

– Тему, Тему, кого же! – нетерпеливо и сердито воскликнула Ева.

– Тьфу ты, рыбка! – рассердилась и Полина. – Совсем ты сдурела! Он что, младенец?

– Младенцев, если родятся, родители и так не оставят, я же понимаю. – Ева быстро покачала головой; глаза ее лихорадочно блестели, на щеках горели алые пятна. – Его мама не оставит, и наша молодая еще, хотя все равно тяжело, но... Но его! Как он будет с ними, один, а их ведь трое, это уже точно, это ужас какой-то, Полина, как он останется совсем один, даже не только из-за детей, но совсем один?!

Тут Полина наконец догадалась, что сестра все-таки не в себе. Конечно, глаза ее были открыты, конечно, говорила она связно, то есть правильно соединяла подлежащие со сказуемыми, но при этом несла такой бред, который мог родиться только в смещенном сознании.

«Может, ее все-таки транквилизаторами накололи?» – подумала Полина.

Примерно так разговаривали те ее знакомые, которые сидели на игле или даже просто курили «травку». Вроде все понятно, но в речи присутствует небольшой сдвиг времени и пространства, из-за которого она выглядит бредом. Не раз наблюдая подобное состояние, Полина точно знала только одно: переубеждать находящегося в нем человека надо весьма осторожно.

– Во-первых, один он не останется, – сказала она, поглаживая Евин палец. – Ты что, в дикой пещере – сама помрешь, детишки выживут? Такое, рыбка, в наше время только в Уганде какой-нибудь бывает, а тут все-таки местность хоть и

относительно, но цивилизованная. А во-вторых, он тебя любит и сам о тебе думает больше, чем ты о нем.

Она специально сказала про «любит» во-вторых и добилась того, чего хотела. Евины пальцы разжались, она улыбнулась, и лихорадочный блеск в ее глазах притушился, и глаза затуманились.

- Правда? - спросила она. - Знаешь, а мне до сих пор не верится, что меня можно любить, особенно здесь не верится - здесь так мрачно...

- Ничего не мрачно, - пожала плечами Полина. - Обыкновенная больница, не Кремлевская, конечно, но ничего особенного. Что он, дурак, больниц бояться?

- Все-таки ты мне пообещай, а? - жалобно попросила Ева. - Может быть, это просто оттого, что я упала и головой, наверное, ударилась, но... Ты знаешь, мне как-то странно, и мне хочется... хочется уплыть, не быть... Я сопротивляюсь, потому что он же здесь, но у меня нет сил... Пообещай...

- Да обещаю, обещаю, - решительно сказала Полина. - Торжественно клянусь, что будешь ты живая-здоровая, и будет твой Темка тебя любить, как Иван-царевич свою Царевну-лягушку, и жить вы будете долго и счастливо и умрете в один день. Подходит клятва, рыбка?

- Подходит... - Евины глаза закрывались, ресницы вздрагивали. - Как Царевну-лягушку... Я что, такая же страшная?

- Ты такая же необыкновенная, - усмехнулась Полина.

- Хорошо как, что ты пришла. - Ева улыбнулась уже с закрытыми глазами. - Это ты необыкновенная, Полиночка, от тебя какой-то силой так и веет. Видишь, я сразу расслабилась и сплю, а все время ведь так боялась, что и спать не могла...

- Ну и спи, рыбка, что тебе еще делать? Юрка тебя вылечит, - добавила она - кажется, больше для себя, чем для сестры.

- Уснула? - спросил Юра у нее за спиной. И как он так вошел, что она не слышала? - Давно пора, а то совсем она измучилась.

- Она что, правда головой ударилась? - шепнула Полина.

- Правда, - нехотя ответил Юра. - Сотрясение легкое, но ей сейчас, конечно, и легкое ни к чему. И без того хватает...

- Юр, а она не умрет? - чуть не плача, спросила Полина. - Почему она так говорит, как будто...

- Потому что головой ударилась. А если все глупости слушать, которые больные говорят, то никакого сердца не хватит, - сердито сказал он.

Полина отлично знала, когда Юрка сердится: когда происходит что-нибудь такое, чему он хотел бы помешать, но не может.

- Может, я ночью здесь побуду? - спросила она.

- С Артемом решите. Кто-нибудь должен побыть обязательно, но только один.

- А почему обязательно? - тут же переспросила она.

- Потому что сейчас за ней надо наблюдать постоянно.

- Почему постоянно? - не унималась Полина.

- Потому что могут произойти отрицательные изменения. - Юра смотрел ей прямо в глаза, и глаза у него были совсем темные. - Их нельзя упустить, но без присмотра это вполне возможно, потому что возможно все. А у меня дежурство, и на ночь я остаться не могу. Утром опять приеду.

- Я останусь, Юра. - Оказывается, Артем тоже вошел в палату и стоял у двери. - Ты иди пока домой, Полинка.

- Логичнее было бы, чтобы осталась она, - пожал плечами Юра. - Все-таки здесь гинекология.

- Я останусь, - повторил Артем, и Юра не стал спорить.

Они вышли в коридор. Юра давал Артему какие-то наставления, он слушал и кивал, а Полина смотрела на него и думала: «Странно как... Сознание теряет – и только о нем... О чужом, в общем-то, человеке. Как это получилось, и так быстро, за год какой-нибудь всего? И что это вообще такое?»

– Юра, ты не беспокойся, – сказал Артем. – Хоть ты-то не думаешь, что за меня беспокоиться надо?

– Не думаю, – улыбнулся Юра.

– А она вот думает, – вздохнул Артем. – И как ее переубедить? Ну что мне, бороду отпустить для солидности? – усмехнулся он и добавил: – Она особенно насчет больниц почему-то волнуется. Смешно даже! Тем более у меня мама очень болела, когда мне лет пятнадцать было, а мы же с ней одни жили, и я тогда еще ко всему этому привык.

– Мне пора, Артем, – сказал Юра. – Значит, чуть что – сразу к дежурному, а если его на месте не будет, пусть из-под земли достанут.

– Не беспокойся, – повторил Артем.

Глава 7

Когда они вышли из больницы, было уже темно. Но в ноябре ведь темнело очень рано, а часов Полина никогда не носила, поэтому время определить не могла.

– Ты совсем торопишься? – спросила она Юру. – Совсем-совсем?

– Полчаса у меня есть. Можем через парк пройти, – предложил он. – Здесь Лефортовский парк рядом. Пойдем?

– Я с тобой давным-давно не гуляла, – сказала Полина, идя рядом с братом по засыпанной листьями широкой аллее. – И даже, кажется, вообще никогда с тобой не гуляла. Точно, Юр! Может, ты меня в коляске только возил, и то вряд ли.

- По-моему, все-таки не возил. - Ей показалось, что он улыбнулся и синева проступила в его глазах, хотя в темноте, конечно, ничего этого нельзя было разглядеть. - Я же всегда собой был занят.

- Ты - собой? - засмеялась Полина. - Это когда это, интересно? Когда в Армению на землетрясение летал или, может, в Абхазию?

- Ладно-ладно, не преувеличивай мой героизм. Ничего особенного я там не делал - то же, что и все.

- Она правда не умрет? - помолчав, спросила Полина. - Что с ней все-таки, а, Юр? Объясни!

- Умереть не умрет, но я же не гинеколог, как я тебе объясню? - Он пожал плечами. - Могу только повторить то, что мне сказали: у нее угроза выкидыша. Говорит это тебе о чем-нибудь?

- А тебе? - тут же переспросила Полина.

- Вообще-то да, - тем же недовольным тоном, что и в палате, словно нехотя, сказал он. - У меня однажды такой случай был, как раз в Абхазии, в Ткварчели, когда мы там во время блокады работали. Сотрясение мозга и угроза выкидыша.

- И что?

- Что... Там у нас из медикаментов одна зеленка была, так что сравнение некорректное. И вообще, надо посмотреть динамику. Обещаю держать тебя в курсе дела, - улыбнулся он. - Расскажи хоть, как ты-то живешь? И почему ты, в самом деле, родителей со своим этим Игорем не познакомишь? Зачем их обижать?

- Никого я не обижаю, - пожала плечами Полина. - Это что, честь великая, с ним познакомиться? Зачем им это надо?

- Хотя бы затем, что он близкий тебе человек.

- Он - близкий? - усмехнулась она. - Кто тебе сказал?

- Но живешь же ты с ним почему-то, и...

- Брось ты, Юр, - перебила его Полина. - Живу я с ним не почему-то, а потому, что мне это во всех отношениях удобно. И потому что... Потому что мне его жалко, - неожиданно для себя добавила она.

Этого Полина вообще-то говорить не собиралась. Это и была та глубокая, чересчур сентиментальная составляющая ее отношения к Игорю, которой она стыдилась.

Но она так любила Юру, что с ним не стыдилась даже того, чего стыдилась наедине с собою.

- Понимаешь, - стала она объяснять, хотя Юра молча шел рядом и никаких объяснений не требовал, - жить с ним, спать с ним - это же такая малость, которой смешно для него жалеть. Конечно, он существо вообще-то странное, ему что я, что дерево под окном, что божья коровка, разницы мало. По первости-то меня это дико раздражало. И что он как-то... непосредственно, напрямую ничего не чувствует, и что для него вне его схемы жизнь вообще не существует - это еще больше раздражало. Это меня, положим, и сейчас раздражает. Я от него потому в первый раз и сбежала, но сейчас... Сейчас я стараюсь на это внимания не обращать. Ну, он такой, а не другой. Ему тридцать пять лет, а его даже мальчишкой не назовешь, просто человек без возраста. И что теперь? Зато с ним не напряжно. И молчит в основном, тоже, знаешь, большое дело, - улыбнулась она.

- А другие что, слишком болтливые? - спросил Юра.

- Ого! У меня, Юр, у самой язык без костей, ты же знаешь, но и мне последний примерно год как-то стало чересчур. Тут ко мне недавно один мальчонка клеился. Зовут, представь себе, Псой Пушкин - ударение на последнем слоге, смотри не перепутай. Роман в стихах написал, просил проиллюстрировать.

- И что ты? - Полина видела, что Юра еле сдерживает смех. - Проиллюстрировала? А про что роман-то?

– Роман про голубую Атлантиду, – объяснила она. – В которой живут братья Кол и Кал с мужем их Поносом.

Тут Юра наконец расхохотался.

– Да-а, мадемуазель Полин, – сказал он, вытирая глаза, на которых от смеха выступили слезы, – с тобой не соскучишься!

– Со мной, может, и не соскучишься, а вот я соскучилась. Этого же всего выше крыши, Юр! Мне уже казаться начало, что только это одно и есть... Вот, например, еще один товарищ, тот занимается процессом демумификации.

– В смысле?

– В смысле, мумии оживляет. Ездил с показательными выступлениями по Европе, в Голландии зацепился. Теперь у него своя передача на телеканале для наркоманов. А если кому все это не больно нравится, то можно начальство среднего звена портретировать, как Шилов. А у Игоря на Соколе петух по утрам поет, козы блеют... В общем, он наименьшее из зол, – заключила она. – И я уже мозаику делать начала в его сарае.

– Почему вдруг мозаику? – удивился Юра. – Ты же вроде акварелью последнее время увлекалась.

– Вот именно что увлекалась, – кивнула Полина. – Могла этим увлечься, могла тем, а могла и ничем. А мозаика... Знаешь, со мной никогда такого не было, – смущенно улыбнулась она. – Чтобы я только пальцами прикоснулась и сразу поняла: вот без этого жить не могу, а почему, и не объяснить.

– А я, по правде говоря, мозаику вообще как искусство не воспринимал, – сказал Юра. – Мне казалось, это что-то декоративное. Вроде клумбы.

– И ничего не декоративное! – горячо возразила Полина. – А в Ватикане? Но я вообще-то не про Ватикан думаю... Я когда за мозаику взялась, знаешь, как себя почувствовала? Как первобытный человек, когда на скальные рисунки делал. Мы их в школе проходили, это те, которые в Якутии на Ленских столбах нашли. Я еще тогда, помню, подумала: он, наверное, такой кайф ловил, что сознание

терял от счастья, этот первобытный человек, когда всю свою жизнь рисовал – оленей, охоту, богов всяких... Вот и у меня так с мозаикой получилось. Непонятно я говорю, да, Юр?

От волнения Полина оскользнулась на мокрых листьях и чуть не упала.

– Ну что ты, все понятно. – Юра подхватил ее под руку. – По-моему, ты правильно живешь, мадемуазель Полин.

– Ты первый человек, от которого я это слышу! – засмеялась она. – А все, наоборот, говорят, что у меня черт-те что в голове.

– Ну, что у тебя в голове, я не знаю. – Он щелкнул зажигалкой, и тусклый огонек осветил его улыбку. – Но мне кажется, ты правильно отделяешь главное от неглавного.

– Ничего себе! – Полина даже приостановилась от удивления. – А я, представляешь, только сегодня про это думала, но к себе это как-то не относилась...

– А к кому же ты это относилась?

– К маме. К тебе, – пожала плечами Полина.

Теперь удивился Юра:

– Ко мне? Да у меня ведь все очень просто, Полин. Работа, еще работа, потом опять работа, потом немного отдых и снова работа. Что и от чего мне отделять?

– А Женя? – съехидничала Полина. – Она у тебя как, работа или отдых?

Юра засмеялся:

– Ты, как всегда, не в бровь, а в глаз! Женя... Говорить красивые слова?

– Ладно, можешь не говорить, – разрешила Полина. – Я и так знаю. А интересно было бы красавицей побыть! – хихикнула она. – Типа Жени. Чтоб такой мужчина, как ты, был в меня без памяти влюблен и готов был ради меня идти на край света.

– Полинка, с ума с тобой сойдешь! – Юра поперхнулся дымом и закашлялся. – На какой еще край света?

– А ты разве не готов? – Она постучала его кулаком по спине. – Помнишь, про мороз и солнце, день чудесный рассказывал?

– А! – вспомнил Юра. – Да просто к слову пришлось.

Беседа про «мороз и солнце, день чудесный» произошла в тот самый день, когда Ева сообщила сестре о своей беременности. После того нелегкого для нее разговора Ева долго не могла успокоиться. Но потом приехал за Ванечкой Юра, и, до того как Женя вернулась с вечернего эфира, они сидели втроем на кухне, пили чай и разговаривали о чем-то таком простом и неповторимом, что Полина любила больше всего и о чем могла разговаривать только с ними.

– Может быть, вы что-нибудь придумаете, – вдруг вспомнила тогда Ева. – Понимаете, у меня завтра первый урок по Пушкину в девятом классе, и надо объяснить, что такое поэтический образ.

– А ты ни разу не объясняла, что ли? – удивилась Полина. – Выучила бы наизусть, да и шпарила каждый год. И вообще, рыбка, не бери ты это в голову. Им в девятом классе сколько лет, пятнадцать? Где они, а где поэтический образ! Ну, скажи, что «мороз и солнце, день чудесный» – это поэтический, а «Федя, пошел на хрен» – это не поэтический.

– Нет, все-таки надо по-другому, – не обращая внимания на чертиков, скачущих в Полининых глазах, возразила Ева. – Надо так, чтобы они вот именно поняли, какое отношение имеет поэтический образ к их жизни. Как он накладывается на их жизнь и как ее меняет. Это трудно объяснить, и это раз и навсегда не выучишь.

– Да никак он ее не меняет, потому что... – начала было Полина, но заметила, что Юра усмехнулся, и спросила: – Не так, что ли, Юр?

– Может быть, и так, – пожал он плечами. – Я от поэзии, мягко говоря, далек, но поэтический образ... Можешь им привести, например, такой случай его наложения на реальность. Вот входит обычный человек в обычную свою комнату. Первое января, на работу ему не надо, проснулся он поздно, покурил на кухне и доел салат оливье. А женщина, которую он любит, спит еще. И январь такой хороший – не слякоть, как обычно, а мороз. Мороз и солнце, день чудесный. Конечно, он лет с пяти эти стихи помнит, нормальный же он человек. И когда он смотрит на эту женщину... Понимаете, он и так ее любит больше, чем... В общем, сильно он ее любит. Но когда он вспоминает, то есть даже не вспоминает, а как-то внутри себя чувствует вот эти строчки про мороз и солнце, то они... Черт, и правда ведь толком не объяснишь! – Юра улыбнулся и потер ладонью лоб. Полина с удивлением заметила, как взволновался ее брат от этого, для него, конечно, длинного монолога. – В общем, когда его чувство к ней соединяется с этими строчками, то это чувство приобретает совершенно другой масштаб. Очень большой масштаб. Хотя почему это так, все равно ведь непонятно, так что пример получается невразумительный, – смущенно заключил он.

– Юрка, ты прям как Писарев! – завопила Полина и даже в ладоши захлопала. – Или нет, Писарев, кажется, Пушкина, наоборот, не любил, потому что был дурак. Ну, в общем, ты лучше всех.

Привлеченный Полиниными аплодисментами, в кухню заглянул Ванечка, тут же раздался звонок в дверь – приехала Женя, и разговор о поэтических образах прервался. Впрочем, Полина считала, что он не прервался, а был вполне завершен.

Об этом разговоре она и напомнила сейчас брату, смутив его так, что это было заметно даже в темноте.

– Слушай, – быстро поменял он тему, – а где тот парень, которому ты гарсоньерку продала?

– А фиг его знает, – пожала плечами Полина. – Я его и видела-то три раза в жизни, в общей сложности полчаса. Документы все он оформил, ключи от чертановской конуры мне вручил, чего от него еще? Я бы и как его зовут не запомнила, если бы не кот, – добавила она и пояснила: – Они с котом тезки, потому что рыжие оба. Его, значит, тоже Егором зовут. Георгием.

- Так это его, что ли, кот? - удивился Юра. - А почему у нас живет?

- Потому что девать было некуда. Он куда-то уезжал, вот и оставил. Сказал, через месяц вернется и заберет.

- Однако уже полгода прошло, - сказал Юра.

- А зачем он тебе? - удивилась Полина. - Или тебе кот мешает?

- Кот мне, конечно, не мешает, но Женя обмен затеяла, - объяснил он. - Свою квартиру и ту, чертановскую, хочет на трехкомнатную обменять. И уже даже, оказывается, вариант подходящий нашла. Прямо на Аэропорте, представляешь? В соседнем доме. Можно бы Ваньку в садик отдать, который у родителей во дворе, мама бы забирала иногда, а то у нас с Женей, видишь, какая жизнь, вечно вечера заняты.

- Ну и меняйся, - сказала Полина. - Чертановская квартира же твоя, какое тебе дело до прежних владельцев?

- Но вещи-то свои он оттуда не забрал, - напомнил Юра. - Куда я их дену, если обменяюсь?

- На помойку вынесешь, - хмыкнула Полина. - Видал ты эти вещи? Матрас на полу, как в «Двенадцати стульях», и шкаф без дверцы. Коробок, правда, много, но и в них, похоже, не золотые слитки.

- Ладно, объявится же он когда-нибудь, - сказал Юра.

Они шли по пустынному парку так медленно, что только теперь дошли до старинной плотины. Яуза темнела под невысоким берегом, шумела в плотине вода, но, несмотря на этот шум, было слышно, как листья отрываются от веток и падают на другие, уже опавшие, листья.

- Плотина эта как-то красиво называется, - сказал Юра. - Что-то с Венерой связанное, только я забыл, что именно. А здесь папа маме предложение сделал, знаешь? Он же в Бауманском учился, это рядом совсем. Он ее пригласил на институтский вечер, потом они в парке гуляли. В общем, все как в кино.

– Ух ты! – восхитилась Полина. – Надо же, как мило. Историческая местность, оказывается. И что?

– И ничего, – улыбнулся Юра. – Она ему отказала.

– Как это? – не поняла Полина. – Почему отказала?

– Потому что не любила.

– Ни фиги себе... – Полина почувствовала, что от изумления у нее открывается рот. – Нет, Юр, ты расскажи, расскажи! Что значит – не любила? Потом-то согласилась, как жизнь свидетельствует.

– Потом согласилась, – кивнул он. – Потому что пожалела его. Он ведь под машину попал, ногу отняли, а протезы тогда были – только до собеса доковылять, а он на инженера-ракетчика учился, на Байконуре мечтал работать... В общем, аховая была ситуация. Она и пожалела. Еву в Чернигове с родителями оставила и к нему приехала. Говорит, почувствовала, что надо сделать так, а не иначе. Ну, это же мама, – улыбнулся он. – Она же все насквозь чувствует. И как она сделает, так, значит, и надо.

– Что-то ты путаешь, – потрясенно протянула Полина. – По-моему, она его очень даже любит...

– Конечно, любит. С папой жить и не полюбить – это труднопредставимо. Да отомри ты, мадемуазель Полин! – засмеялся он. – Что тут такого особенного?

– Да все особенное! По-твоему, можно из жалости полюбить?

– Полюбить из чего хочешь можно, – пожал плечами Юра. – И кого хочешь.

– Да знаю я, – махнула рукой Полина. – Любовь зла, полюбишь и козла. Тем более они-то шире всего и представлены. Да-а, Юр, все вы, выходит, одного поля ягодки! Кроме меня, конечно. Даже у мамы с папой романтическая какая-то история, оказывается. Чего уж на Еву удивляться, ей-то сам Бог велел.

– Еву надо срочно на Маросейку перевозить. – Юра нахмурился. – В институт, где она наблюдается. Здесь специалистов нет, а у нее не тот случай и не тот возраст, чтобы рисковать.

– По-моему, она уже рискнула, – невесело усмехнулась Полина. – Она, конечно, героическая женщина, кто спорит, но я как представляю, какой их конец света ждет, когда она родит... Бр-р!

– Пусть еще родит сначала, – напомнил Юра и суеверно постучал по Полининой голове. – Конец света! Разве это конец света? Совсем наоборот.

– Ну, ей-то я не говорю, конечно, но все-таки... Темка-то и правда не банкир без материальных проблем, и лет ему не тридцать и даже не двадцать пять, – сказала Полина.

– Ты когда что-нибудь рассудительное пытаешься говорить, то на тебя без смеха смотреть невозможно. – Юра и в самом деле улыбнулся. – Артем все понимает как надо, я это, между прочим, еще полгода назад заметил, – помолчав, сказал он. – Когда на него братки ни за что наехали и он меня просил, чтобы я Еву уговорил его бросить. И вообще, по-моему, когда кажется, что все не по-людски, то на самом деле, значит, все правильно.

– Ну да, левой ногой правое ухо чесать как-то лучше всего получается, я давно заметила, – кивнула Полина. – Такая у нас, видимо, страна, что для нас только так и естественно.

– Да ты, я смотрю, политически подкованная девушка! – снова улыбнулся Юра. – Лекции про текущий момент не посещаешь?

– Ты в Чечне целый курс прослушал, не иначе, – хмыкнула она. – С практическими занятиями.

– Все, Полинка, пойдем к метро. – Юра отбросил окурочек. – Запас свободного времени исчерпан.

– Знаешь, я все-таки в больницу вернусь, – сказала она. – Уговорю Темку поспать сбегать, они же тут рядом живут.

– Ладно, – кивнул Юра. – Только я тогда тебя обратно провожу, а то тьма здесь кромешная, в исторической этой местности.

Конечно, она тревожилась за Еву, и, конечно, Артему надо было отдохнуть, но все-таки Полина даже себе не хотела признаваться в том главном, что удерживало ее здесь... При мысли о том, что сейчас за чем-то надо будет долго ехать в метро, входить в темный дом на Соколе, видеть Игоря, – при мысли об этом ей становилось так тошно, как будто она должна была не совершить все эти привычные действия, а вывернуться наизнанку или превратиться во что-нибудь бессмысленное – в рыбу, что ли.

Глава 8

Самым неприятным в промозгом сарае оказался не холод, а отсутствие нормального света. Потолок был низким, лампочка под потолком – тусклой, и поэтому такой же тусклой казалась даже золотая смальта, не говоря уже об осколках гранита и зеленого мрамора.

Зато, отбивая молотком эти осколки от крупных глыб, Полина согревалась. Правда, плечи гудели вечером так, словно она весь день разгружала вагоны, но к этому она уже привыкла. Смешно было думать о каких-то плечах, вообще о чем-то внешнем, когда прямо на ее глазах – да что там на глазах, под ее руками! – медленно и как-то очень серьезно возникало то, что она даже в своем воображении не могла представить досконально, а видела лишь в общих чертах, как неясный и манящий образ.

«Вот это будет тот день, когда я на лугу рисовала, – говорила она себе, собирая вместе зеленоватые осколки мрамора и терракотовые – от старого глиняного кувшина, который нашла здесь же, в сарае. – Чингисханчики, мышинные кармашки... А вот теперь – Игорь».

Игорь получался в виде длинной, гибкой, разными цветами переливающейся линии. Линия обвивала изображение Зеленой Тары, которую Полине пришлось повторить самостоятельно из мраморной крошки, потому что саму танку ей заполучить не удалось, – и эта линия была в точности Игорь: такая же гладкая, приятная на ощупь, сразу холодная, но быстро согревающаяся под ладонью. Как

это получалось, почему именно так, Полина и сама не понимала, но восторг не проходил – ни от долгого крошения камней, ни от возни с кусачками, и она чувствовала, что все делает правильно. Вспыхивали, как свечные огни на соснах, кусочки золотой смальты, и вся мозаика была живым, чистым, ничем не замутненным воспоминанием.

Если не считать английских и итальянских книжек, Полина училась этой работе интуитивно. Но ей всегда было не занимать интуиции, поэтому учеба шла довольно легко. Вернее, пошла легко, как только она почувствовала, каким именно способом в мозаике делается то, что в рисунке делает рука художника, – вот это мгновенное, прямое, изнутри идущее движение, в результате которого и получается рисунок. В мозаике такое движение было невозможно. Вернее, оно было совсем другое, медленное, оно требовало долгой сосредоточенности, к которой Полина вообще-то не привыкла, но привыкала сейчас.

Одним словом, ей было о чем размышлять в холодном сарае, куда она по-прежнему, несмотря на ранние морозы, уходила каждый день ни свет ни заря.

За всеми этими делами, мыслями, чувствами Полине было совершенно не до того, чтобы думать о посторонних вещах. Но думать приходилось – точнее, не о многих вещах, а об одной-единственной посторонней вещи, которая в последнюю неделю тревожила ее и пугала.

Полина всегда была беспечна в том, что называлось скучными словами «женские дела». Она представить не могла, как можно вести какой-то календарь критических дней, высчитывать, когда секс опасен и когда якобы неопасен, что ни месяц нервничать... С Игорем она не церемонилась – никаких пошлостей про цветочки в противогазах во внимание не принимала. Впрочем, он, скорее всего, и не знал всех этих пошлостей, потому что не интересовался разговорами, которые ведутся в мужских компаниях. Правда, не интересовался он и способами предохранения как таковыми, поэтому походы в аптеку были Полининым личным делом. Но, в конце концов, делом не таким уж и утомительным. А если она по безалаберности своей забывала вовремя запастись презервативами, как в тот раз, когда ему вдруг приспичило «вернуться к себе прежнему» прямо на тибетском ковре, то просто глотала таблетку, после которой, правда, чувствовала себя отвратительно из-за тошноты, зато всегда спокойно.

Но таблетку она проглотила больше двух месяцев назад, а тошнота все не проходила, даже, наоборот, усиливалась, и уже глупо было, как страус, прятать голову в песок и уговаривать себя, что просто изменилась погода, что у нее и раньше так бывало... Раньше так не бывало, это было понятно даже без календаря.

Еву уже перевели в Институт акушерства у Покровских Ворот, и Полина обычно забегала к ней ненадолго: и так хватало посетителей – то мама, то папа, то Артем. Но в один из своих приходов к сестре она решила задержаться, чтобы поговорить с молодой врачихой, которая вызвала у нее наибольшее доверие.

Результат этого разговора, точнее, не столько разговора, сколько осмотра, оказался предсказуем, но от этого не стал приятнее.

– Запустила ты, – сказала врач. С виду она казалась почти Полининой ровесницей. – Десять недель уже, и чем ты думала, этим самым местом? Рожать ведь не собираешься?

– Еще не хватало, – пробормотала Полина, передергиваясь при взгляде на кресло, с которого она только что слезла. Но уверенность, звучащая в голосе врача, показалась ей почему-то обидной, и она спросила: – А как ты догадалась, что не собираюсь?

– Такие не рожают, – засмеялась та. – Сразу же видно, что не замужем. И лет тебе еще не сорок, зачем тебе ребенок без мужа! Правильно же?

– Правильно, – вздохнула Полина.

Все было правильно, ничего во всем этом не было особенного. И так ей, можно сказать, везло: год, ну, пусть с перерывом, жить с мужчиной и ни разу не залететь... И никаких детей она, конечно, иметь не собиралась, поэтому надо было прямо сейчас выяснить, где можно избавиться от этой неприятности, и поторопиться, потому что срок был критический. Почему настроение у нее при этом такое, что хоть об стенку головой, тоже было понятно. Кто бы на ее месте радовался?

Она записала адрес больницы, где «все сделают в лучшем виде и за божеские деньги», отдала врачихе специально принесенную бутылку испанского вина и

вышла из кабинета.

Когда она вернулась на Сокол, Игорь был дома. Да он и целыми днями был дома: после завершения денежной работы процесс медитации обычно растягивался надолго. Полине было непонятно, как может взрослый человек среди бела дня вслух читать мантры, словно детсадовец на елке, и без смеха выговаривать «сахасрара» или «Гампопа». Но, в конце концов, на это можно было обращать не больше внимания, чем на включенное радио.

К ее удивлению, Игорь услышал, как хлопнула входная дверь. Когда Полина вошла в просторную прихожую, он появился на лестнице, ведущей на второй этаж.

– Ты куда ходила? – спросил он, глядя сверху, как она обметает веником от снега ярко-красные, с вышивкой валенки.

Точно такая же, валяная, но не красная, а зеленая была у нее и шапочка. Валенки и шапочку Полина купила в прошлом году в Измайлове, где торговала картинами ее строгановская подружка Катя. Папа еще сказал тогда, что в этом наряде она похожа на землянику под листочком.

– Или на малину, – добавил он, и Полина вспомнила, как папа когда-то пел ей песенку: «Солнышко на дворе, а в саду тропинка... Сладкая ты моя, ягодка Полинка!» – а слух у него был такой, что мама смеялась и умоляла не подвергать ребенка стрессу.

– Сестру навещала, – буркнула она. – Как это ты заметил мое отсутствие? Есть захотел?

Игорь раздражал ее сейчас просто до невозможности! Даже его босые, с белыми ступнями ноги раздражали, даже то, как он шлепал ими по деревянным ступенькам лестницы.

– Нет, не есть. – Он покачал головой и спустился вниз. – Почувствовал себя одиноко.

– Значит, трахаться, – усмехнулась она.

– В общем, да, – кивнул он. – А что тебя так возмущает? Я еще понимаю, если бы ты придерживалась какого-то обряда, который это запрещал бы...

«Ну, и что ему скажешь? – вздохнув, подумала Полина. – Обряд у человека, в мантрах перерыв наметился, хочет справить физиологическую нужду. Справит – танку нарисует».

До сих пор ее это вполне устраивало, и она понимала, что глупо сердиться на то, к чему он привык.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://telnovel.me/berseneva_anna/pervyy-sluchaynyy-edinstvennyy

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)